

ISSN 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის



ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ

7

1986

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО.** Звезда Гуднашвили. Стихи 3
- ХУТА ГАГУА.** Стихи. Перевел Сергей Борисов 5
- АРЧИЛ СУЛАКАУРИ.** Белый конь. Роман. Окончание. Перевели Марина Мгалоблишвили и Татьяна Бек 14
- ЛАША НАДАРЕЙШВИЛИ.** Стихи. Перевел Валерий Краско 106
- ИНДА ДАДИАНИ.** Стихи 110
- АЛИ ИСАЕВ-АВАРСКИЙ.** Стихи. Перевел с аварского Николай Лятошинский 112
- ГЕОРГИЙ ГРИГОЛИЯ.** Рассказы 114

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ.** Предвестие весны. Авторизованный перевод А. Беставашвили 138

РЕЦЕНЗИИ

- ВЛАДИМИР НИКОЛАДЗЕ.** «Природе только слово соразмерно...» 191

7

1986



ВЛАДИМИР САРИШВИЛИ. «Каждой весной» 194
 ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Кривое зеркало . . . 196

ИСКУССТВО

НАТАЛЬЯ ХОЛЯВКО. Вдохновенная музыка
 «Витязя» 199

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Чацкий в Тифлисе. Из
 истории Тифлисского русского театра
 XIX века 207

ХРОНИКА 222

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И ПРОЗА

ВЛАДИМИР САРИШВИЛИ. Звезда Тифлиса 3

ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Кривое зеркало 5

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Чацкий в Тифлисе 14

НАТАЛЬЯ ХОЛЯВКО. Вдохновенная музыка «Витязя» 106

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Чацкий в Тифлисе 110

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Чацкий в Тифлисе 112

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Чацкий в Тифлисе 114

7



ЗВЕЗДА ГУДИАШВИЛИ

Астрономы не погрестили
 против правды в небесном труде,
 имя совестливое —

Гудиашвили —
 подарив безымянной звезде.
 И когда на рассвете

во Мцхете
 вдоль духанов стучало ландо,
 звезды прыгали,

словно дети,
 в молодые ладони Ладо.

И одна ему в душу попала,
 чтобы только

не шлепнуться в грязь,
 будто с неба совсем не упала,
 а внутри родилась и зажглась.

И когда танцевал он в Сигнахи
 у фонтана —

отнюдь не воды, —
 шло свечение из-под рубахи
 от горячей под кожей звезды.

Он,
 посмертно взошедший звездой,
 был в спесивых глазах не звезда,
 но бедою он шел,

как водою,
 так, что не прогибалась вода.

Среди тех,
 кто, искусство обжулив,
 был на трупах до звезд вознесен,
 разрисовывал абажуры
 для каких-то артельщиков он.

И однажды, пируя отпето
 и тоскуя беззвездной тоской,
 расписались три брата-поэта
 у Ладо на стене в мастерской.

И картина, как будто кулиса,
скрыла в тяжкие времена
Тициана, Паоло, Бориса
незапятнанные имена.

И сквозь розовость

пышной вакханки
рвались в жизнь, в переулки, в сады,
холст Ладо прожигая с изнанки,
три припрятанные звезды...

Я не знаю, насколько я вечный:
может, искоркой сгину в чаду,
может, стану пылинкою млечной,
а звездой, как Ладо, не взойду?

Жизнь моя —

как сплошные поминки,
но на млечном невечном пути
могут памятливые пылинки
до потерянных звезд дорасти.
Даже слава не съест,

не заездит, —
лишь бы не позабыть никогда,
что дитя всех погибших созвездий —
наша собственная звезда.

Прежде чем нас почтут астрономы,
беззащитны мы в нашей борьбе.

С раздирающими острями
наши звезды мы носим в себе.

Наши звезды из нас вышибают,
на предсердье от них — волдыри,
и печенку, дымясь, выжигают
звезды, вскрикивающие внутри.

Настоящий художник извелся —
он ступает по звездной золе.

Только те превращаются в звезды,
кто не лжет никому на земле!

СТИХОТВОРЕНИЕ

Ночь одиночества. Ночь листопада.
Мука бессонницы и благодать
неизреченной строкой передать
жизнь до последнего вздоха и взгляда.

Сердцу чужому, что петь разучилось,
воля и страсть отзовутся в ответ
в пору, когда ему крепости нет —
вера ушла, а другой не случилось.

Так у надежды, бегущей обмана,
светлые слезы причастия есть.
И обитает счастливая весть
в капле дождя о волне океана.

Ветер ударит, но дум не остудит:
добрым побегом, дерзающим быть,
душу живую, бог даст, одарить
в годы, когда нас на свете не будет.

ГВАНЦА

Прости меня! Моей ли жалкой властью
дать чувству имя, взятное вовне?
Оно словам неведомо и страстью,
как слиток золота, оплавлено во мне.

Пылало б сердце солнца горячѣй
в груди твоей и пела кантилена,
когда б один из пламенных лучей,
найдя подобье, вырвался из плена.

О Гванца! Огневеют облака.
И я мечту безумную лелею
сказать тебя, пока с рукой твоею
моя соприкасается рука.

ПЛОТЬ И ДУША



Как милостью избалованный нищий —
прости мне, плоть, подсыбные слова! —
ты жаждешь, порожденная едва,
вина и крова, зрелища и пищи.

И лишь душе — не в силу простоты,
она другими благами богата —
цветочного довольно аромата,
лесного эха, солнечной мечты.

БУДЬ БЛАГОСЛОВЕННА

Оле

Прости, господь, холопу чуда,
что он презрел земную плату
за путь в родильную палату
и возвращение оттуда.

Прозрачней воздуха лесного
душа и тело... Мир коленям
той женщины, что по ступеням
нисходит в мир мадонной новой.

А встречу, как беженка босая,
восходишь ты — туда, где криком
исходят в таинстве великом,
стекло и камень сотрясая.

Да будет крик за боль в ответе,
изнемога в небе талом.
Я небеса молю о малом:
да укрепятся стены эти!

Благословенна мать от века
того, кто с радостью и внове
возвел сей храм всея любви
во утвержденье человека.

И если женский крик расколет
кирпич и стекла брызнут тонко,
восставит стены плач ребенка,
зане им истина глаголет.

Любовь моя! В кромешном круге
уста отчаялись смеяться.
По сердцу трещины змеятся...
О, укрепи его в недуге!

НА СЕЛЬСКОЙ ДОРОГЕ

Бреду ль куда? Бегу ль чего?
С удачей иль в накладе?
Путь смутен, как во времена
Хафиза и Саади.
И впереди летит листва
и облетает сзади.

Бегу ль чего? Бреду ль куда?
К уладам или бедам?
Для гор негандан мой приход
и мой уход неведом.
Будь проклят час рожденья мой
и час кончины следом!

Я брошен миром. Не избыть
в груди тоски-твердыни...
А радость, вот она — взгляни! —
гусей пасет в долине.
Три дня тому, пропали как,
да отыскались ныне.

КОНЧИНА

Будь что будет, небу не во гнев.
Мне предел оглядывать не надо,
где дробит железная ограда
свет и тень кладбищенских дерев.

Гость случайный, молча поспеши
прочь от места пагубы и тленья.
Там, изныв под комыями забвенья,
бредит прах спасением души.

Просит он о милости во мгле,
снег ли, дождь летит на изголовье.
Стих причет, как скучное присловье.
Смолк поэт, как не жил на земле.

Весь помин — свеча, которой нет,
книга строф, умершая до срока.
И с обложки смотрят одиноко,
как с надгробья, имя и портрет.

Вне земли и вчуже от небес
пройден путь... О, мука без отрады!
Нет ему у всенощной лампы.
Жил, как не жил. Умер, как исчез.

Толк воскликнет: — Сам-де виноват,
ибо слепнет — в бегство обращенный.
— Злая доля, — молвит посвященный, —
Нет числа бредущим наугад...

Мы от века веруем в одно —
в правый суд времен и поколений.
И в кругу скорбей и умилений
мним себя прозревшими давно.

Думу тела, беглую поднесь,
ранит грань железа и бетона.
Но душе, блаженная до стона,
весть бессмертья дерзостная есть.

ВСПОМИНАЯ ДЕДА

На меня из зеркала глядит
хмурый и небритый собеседник.
— Улыбнись иль просто сделай вид.
Ты угрюм, как пасынок последний.



И на память мне приходит дед...
 Вот бранится: «Милосердный боже!
 Не могу я радоваться, нет,
 глядячи на пасмурную рожу.

Иль ты вовсе, парень, онемел?»
 И в усах усмешку спрятать хочет.
 Только тут же — это он умел —
 как дитя невинное, хохочет...

Господи, ты знаешь отчего
 я смущен... Яви благословенье —
 не гримасу смеха, а его
 навсегда живое откровенье.

● Мук
 посконная рубаха —
 благо веры — не хвала.
 Слово выстрадай дотла.
 Храм стиха
 восставь из праха.

Пронизает
 омут взора
 дум высокая заря,
 смуглым золотом горя,
 точно купол
 у собора.

Не обида,
 но любовь
 сердца колокол разбудит.
 И последней болью будет
 бога
 праведная кровь.

ЧЕЛОВЕК С ПТИЧЬИМ СЕРДЦЕМ

Я славы бога не взыскую.
 Все — благо, что вменил в удел.
 «Сие есть путь твой!» — повелел.
 И канул я в толпу людскую.

И давка мне ломает руки.
И глушит гвалт, в ушах звеня.
— О мать! Они пожрут меня!
— Терпи... — Но это горше муки!



ՀԱՅԿԵՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՊԱՐԿԵՐ

И плачу я в невольном страхе.
И мой хурджин не мной почат.
Откуда взялся ты, — кричат, —
С неугомонным сердцем птахи?

Я кровь и слезы вытираю
о край изодранных одежд
и в пыльном рубище надежд
бреду к зиме и.. умираю.

Такой мне, мама, путь гадают.
Иного — нет... Лишь там, вдали,
мне снится уголок земли,
где тихо листья опадают.

Я все сочту — долги и даты —
под залп грозы у мертвых плит...
Зачем нельзя, как дух велит,
предстать пред богом без утраты?



Он стиснул зубы, чтоб не закричать.
Качнуло станционные березы.
Вагон пошел. Он спрыгнул. Но опять
догнал вагон. Его душили слезы.

Случилось то, что было суждено.
Крик ворона хлестнул его по коже.
Он торопливо выглянул в окно —
был эшелон на воинский похожим.

И в падающих встречу ему глазах
клубилось небо без благословенья.
Война ль, потоп — все поздно. И назад
возврата нет, когда разъяты звенья.

Как умерла под ветром роковым
свеча надежд, горевшая обманно.
И все глядела в сумеречный дым
оправданная грешница — Иванна.

И слезы взоры застили ее.
И день смежал ресницы. И окрестность,
как сирая старуха, в неизвестность
взирала молча, думая свое.

На стыках содрогаясь и спеша,
все унеслось, означенное еле,
о чем теперь помолится душа,
что длилось вечность — целых две недели.

БАЛЛАДА О ПАВШЕЙ КРЕПОСТИ

Ты пил блаженную струю
надежды, промысла и веры.
Был тверд, как башен камень серый.
И нес легко судьбу свою.

И у реки прозрачных утр
враги в согласии и силе
лукавой лестью погасили
глаза, повернутые внутрь.

Ты изнемог... И скорбь темна,
что, не случись глухой измены,
ты б отстоял святые стены...
Твоя твердыня — отдана.

Познай, как лют любовный яд,
Как не в отца дитя рождается...
И в путь, что горечью дымится,
куда глаза ни поглядят,

Ступай. Пожитки собери.
Хватает воронам поживы.
Не мешкай! Что увечить жилы?
Бог мертв снаружи и внутри.

Все кончено. Уста как лед.
Молиться некому отныне.
Не приступом берут твердыни —
их ключ предательства сдает.



Ступай. Ознобом грудь полна.
И жизнь и битва одиночки
тобой проиграны до точки.
Меч — брошен. Мечь — не суждена.

Ступай, отчаянно влача
нагую мысль отца и мужа.
Пусть гонит ветренная стужа
тебя, как лист карагача.

— Простите мне! В мой смертный час
не надо слез жены и сына,
что вновь убьют меня... Пусть глина
заплачет, холодом сочась.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

Разрази меня гром, если я согрешу перед вами
и солгу! Год назад, разделяя застолье одно,
неказистый поэт вдруг нервически дернул бровями
и зело надерзил
знаменитости,
пившей вино.

— Брось лукавить! Чужда тебе, лысому черту, аджика.
И не в прок тебе перец. Кого ты решил провести?
Я-то знаю давно: под гримасой разбойного лика
зябнет птичья душа —
содержанка,
брюзга,
травести.

Злую волю твою дразнит вкус остроты или славы?
Успокойся,
уймись,
усмири свой несытый оскал.



Переперчен твой стих,
 пересолены слезы приправы...
 Или толику меда ты в жизни земной не сыскал?

Опустилась глава оскорбленного баловня света.
 Тени ночи черней по его пробежали челу.
 Он поднялся и с хмурой усмешкой промолвил на это:
 — Прописавший

Пегасу
 диету
 подобен ослу!

И соленые слезы его омочили ланиты, —
 благо перец был лют... И покинул нас гость именитый.

Скоро все разбрелись, как стихов разбредаются строки,
 и гурьбой,
 и попарно,
 и с вечностью наедине...

Мельтешила зима. Мягкий снег устилал водостоки.
 — Боже, как хорошо! — год назад я шепнул тишине.

...Но за перец и мед перепалка запомнилась мне.



Его в сутану ненависть одела.
 Вся ночь — один мучительный глоток.
 Лишь дух отмщенья сотрясает тело,
 как дамбу — обезумевший поток.

Он только меч в деснице провиденья.
 И, яростно подъявля острие,
 он только кара за твое паденье,
 за пиршество греховное твое.

И прежде чем безжалостно и тупо
 убить себя, он будет выть, как пес,
 и присным мавром корчиться у трупа
 возлюбленной и мук своих и слез.

Перевел Сергей БОРИСОВ





Арчил СУЛАКАУРИ

БЕЛЫЙ КОНЬ

●
Р о м а н

Перевели Марина
МГАЛОБЛИШВИЛИ
и Татьяна БЕК

В ТБИЛИСИ мы приехали пятнадцатого июля и несколько дней убирали запущенную, запыленную квартиру. Дело шло медленно, и сердобольные соседи взялись помочь нам. Отец не отказался.

Было жарко, в городе парило. Мне, привыкшему за четыре года к деревенскому воздуху, дышалось с трудом. Ошалевший от жары, я бегал к Куре, освежался и мокрый — вода с меня лилась ручьями — взбегал на наш балкон. Я без конца носил и носил мусор во двор. Когда скопилось столько сору? Ведь не мог же он набраться, пока нас здесь не было? Неужто мы и раньше жили в такой грязи? Сколько хлама напихано было в ганджины и шкафы, в диваны и сундуки, под кровати и в темные углы! Почему человек не способен расстаться с хламом? Выбросили мы порядочно, но больше половины старья осталось. «Это может пригодиться», — со знанием дела говорил кто-нибудь из соседей и,

Окончание. Начало в № 6.



встряхнув старую вещь — объединенную мышами туфлю или ставшие тряпкой брюки, — откладывал ее в сторону. Отец покорно со всеми соглашался, я же внутренне противился происходящему. Порой мне становилось смешно: «Неужели, чтобы убедиться в ненужности этого старья, нужна еще одна мировая война?»

Отцу, казалось, было безразлично, что оставят, а что выбросят соседи. Задумчивый, он на все послушно кивал головой. Он был сам не свой, голоса не подавал и от деятельности, именуемой «уборка дома», отстранился. Сколько народу нам помогало! Я уже и счет потерял, не разбирая, кто входит и выходит, кто что заносит и выносит. Отец бесцельно бродил по комнатам и курил папиросы.

Потом он поблагодарил всех соседей за помощь — мол, магарыч за мной, пока жив, не забуду, — и еще много чего наговорил, на слова не поспешил. Думаю, благодарить он начал вовремя, поскольку бескорыстная поначалу деятельность соседей (особенно соседок) перерастала уже в праздное любопытство. С огромным интересом рассматривали они все, что у нас было. Проверяли вещи и так и этак, даже цену прикидывали: дескать, на Сабурталинском базаре за это дадут столько-то. Одна соседка даже вытащила из шкафа платье моей матери и накинула его на спину другой соседке, а та держала в руках продолговатую фарфоровую посудину и, как в бинокль, смотрела в нее на небо.

— Знаешь, сколько еще дел впереди, — сказал отец, когда мы остались одни. — Но ничего, справимся.

Беготни и забот хватало и вправду. Отец успел сходить в военный комиссариат — представить документ, подтверждающий, что он участник войны и демобилизован. Вернулся он оттуда радостный, его с большим почетом принял сам комиссар, целый час проговорили — он подробно расспросил, где, на каком фронте воевал, где победу встречал... Следующие два дня отец бегал за хлебными и продовольственными карточками. Их тоже удалось получить без труда: на отце еще была военная форма и он всюду входил беспрепятственно. Достать карточки — это было главное. Теперь средства к существованию в Тбилиси у нас были.

— Ух, ну и нашествие! Даже Берлин мы брали не таким натиском! — беспомощно развел руками отец.

И как мы это приберем? Ну да ладно, они много мусора вынести нам помогли... Я на них не в обиде, люди они хорошие.

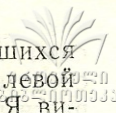
Оба мы в растерянности бродили по неприбранной квартире и не знали, с чего начать, но постепенно каждой вещи нашлось место. Две наши комнаты и галерея приобрели старый, еще времен моей матери, облик. Отец то и дело перекидывался со мной словом. Пообещал: «В воскресенье возьму тебя на Сабурталинский базар и куплю приличную одежду. Не ходить же тебе в институт в коротких штанах и стоптанных туфлях». Тут, естественно, последовал разговор о продолжении учебы: куда я собираюсь поступить и кем хочу стать? Не получив от меня вразумительного ответа, он предложил сам: «Поступай в индустриальный (ныне политехнический), получишь хорошую специальность. Ты же знаешь, нынче век техники — надо идти в ногу со временем. Мне вот на войне техническое образование очень пригодилось...»

Я не проронил ни слова, слушал его молча, поскольку что ответить, не знал. Признаться откровенно, душа у меня к техническому образованию не лежала. Хотя в школе математика мне давалась легко и учителя были уверены, что я пойду в этом направлении. Наставления отца я выслушал внимательно, и его слова у меня в голове засели.

Вечером мы поужинали тем, что собрала Анано: она дала в дорогу полмешка кукурузной муки, лобио и яиц. Вареную курицу мы уничтожили еще в поезде. «Жарища, она может испортиться», — сказал отец, и мы, не медля ни минуты, ее от порчи спасли.

Пока отец был на фронте, я много думал о нем — в моих мыслях отношения у нас установились хорошие. Это было легко: благодаря своей фантазии я как хотел, так и строил запечатленный в памяти образ.

В деревню он приехал десятого июля. Была на нем офицерская форма. Уже демобилизованный, он носил все же капитанские погоны. Он вернулся полный жизни, бодрый, здоровый, истосковавшийся по разговорам и веселью. Отец не был первой ласточкой, до него вернулись трое — они ехали с разных фронтов, случайно встретились на телавском вокзале и поэтому объявились в деревне одновременно. Деревня, конечно, встре-



тила победителей фанфарами. Один из возвратившихся был контужен, у другого была оторвана кисть левой руки, а третий, как говорили, был цел-невредим. Я видел их дважды, и оба раза они показались мне задумчивыми и замкнутыми, сами говорили мало и на вопросы отвечали скупо.

Отец вошел во двор с громоподобным смехом, чемодан швырнул в сторону, обнял Анано за талию обеими руками, подхватил и закружил. Потом посмотрел на меня и долгое время вглядывался пристально, узнал и бросился навстречу. Крепче, чем Анано, схватил в охапку и закружил, закружил... При этом он все приговаривал: «Какой же ты большой, встретить я тебя на дороге, не узнал бы».

Мы словом не успели перемолвиться, а двор уже наполнился народом, люди шли и шли, неся с собой кто курицу, кто сыр, кто хлеб и вино... Анано всем объявила: «К приезду Сандро забью барана». Этого барана купила она еще весной у тушинских пастухов. «Не сегодня, — сказали соседи. — Сегодня обойдемся тем, что есть, баран пусть будет на завтра...»

Ничего себе «обойдемся», такой стол во дворе накрыли — всем на удивление!

Я все время старался держаться возле отца, но меня то и дело оттесняли женщины: кто о муже спрашивал, кто — о сыне, кто — о брате... Отец был веселый и слова всем говорил обнадеживающие: «Вернутся они, вернутся! Не сегодня, так завтра здесь будут». Даже этой малости им хватало — счастливые, они восхваляли и благословляли отца.

Потом эти восхваления и благословения продолжились за столом, за которым сидело около десяти пожилых мужчин, остальные женщины (я насчитал больше двадцати пяти) и, конечно, в основном старухи. От отца тоже не укрылось засилье женщин. Он не преминул громко заявить: «Вы, женщины, взяли-таки деревню в свои руки!» Под конец пришел председатель колхоза Фидо Квалиашвили, и его избрали тамадой. Этот человек, погруженный в дела и заботы, был мне симпатичен. Очень занятой, он все же, как мог, заботился о семьях фронтовиков. Однажды он и мне при-

Анчил Сулакаури. Белый конь.

слал новые туфли, которые обнаружили гениальное свойство: по мере того как ноги вырастали, они тоже растягивались. Так что я смог в них даже школьную обувь носить.

Фидо Квалиашвили вел застолье с достоинством, традиционно, — это он, как выяснилось, умел.

Я думал о своем. Не сводя глаз с отца, я вглядывался в каждое его движение, ловил каждое слово. В душе я сравнивал его с тем, кого знал раньше, в детстве, и кого четыре года назад проводил на фронт. Сейчас он казался мне чересчур восторженным и возбужденным. Хотя почему бы ему и не быть восторженным, а? «Хорошо, что так, а вернись он, как другие, притихший и замкнутый, был бы это уже не он», — думал я.

Застолье окончилось вечером. «Люди, не стыдно вам, дайте отвоевавшемуся отдых, он ведь и завтра будет здесь!» — гости потихоньку расходились — с разговорами, с песнями. Соседки возились у стола — быстро убрали, все почистили, еду отложили отдельно, посуду перемыли и вытерли.

Мой отец опьянел. Был он в прекрасном расположении духа и помогал женщинам. «Мыть посуду — дело не мужское», — шутили вокруг, но он не уступал, смеялся: «В армии приучили».

Особое внимание он проявлял к своему старому другу — учительнице Маро. Ходил за ней по пятам и что-то шептал ей на ухо, ее смешил и сам весело хохотал.

Мне этот смех не понравился. Что за шушуканье у отца с Зизиной матерью? И я неотступно следил за ними. Наверное, меня раздражало, что после восторга первой встречи отец внимания на меня уже не обращал. Словно упустил меня из виду, а упустив, бросил и забыл. Но вскоре все улеглось. И вот настал долгожданный момент: мы остались одни — Анано, отец и я.

Мы с Анано сидели за столом в большой комнате первого этажа. Слабо светила лампа, а отец, держа руки в карманах, ходил взад-вперед по комнате, иногда слегка спотыкаясь, но сразу же находя равновесие. Перед нами лежали подарки: перед Анано — пестрая цветастая косынка, передо мной — маленькая, необычайно красивая никелированная губная гармошка.

ка. Стоило дунуть, и раздавались дивные звуки. Но играть нужно было уметь. Мы сидели молча и в смутном ожидании смотрели на отца. Молчание нарушила Анано и, запинаясь, несмело обратилась к брату:

— Сандро, скажи что-нибудь... Не молчи.

— Спать, спать, — скомандовал отец. — Завтра поговорим.

— А сам почему не ложишься?

— Скоро лягу, устал очень.

— Я постелила тебе наверху, в твоей комнате.

— Вот и отлично...

Но никто ложиться не стал. Отец опять ходил взад-вперед, а мы бессмысленно сидели и не менее бессмысленно смотрели на захмелевшего, погруженно в себя человека, которому было не до нас. Анано сделала мне знак глазами — иди спать. Я послушался беспрекословно — встал и вышел. Войдя в свою комнату, я прикрыл дверь, в темноте на ощупь добрался до кровати и осторожно сел. Некоторое время я сидел и ловил звук отцовских неровных шагов. Потом услышал, как открылась и закрылась балконная дверь. Теперь звук шагов слышался снаружи. Я услышал и то, как отец со скрипом поднялся по деревянной лестнице и закрылся в комнате.

Потом тишина растворилась во мраке. Глаза привыкли к темноте, и я в открытое окно смотрел на ночную деревню. Небо было усыпано звездами. Потом я услышал далекий и всегда таинственный голос, о котором другие говорили: «Воют шакалы». А во мне звуки эти будили смутное, странное и тревожное ощущение. Пропели первые петухи. Я сидел на кровати, как узник в камере. Потом я разделся и лег в постель. Силился разобраться, что меня так тяготит, мучит, лишает сна. Ведь на всем белом свете нет человека счастливее! Сколькие о такой вот судьбе мечтают! Как видно, я угрюм и мрачен по натуре, раз не могу насладиться счастьем. Так думал я, растянувшись в постели.

Неожиданный крик нарушил дрему — оглушенный, я сел в кровати, думая, что разбудил меня кошмар. Было все еще темно. Снаружи доносился шум голо-

сов, галдеж. Внезапно из этого шума, как факел, вырвался крик, который перекрыл все голоса. Я подумал, что, наверное, кто-то получил известие о гибели близкого человека. В открытое окно я выглянул на узкую улочку, где слышался шум. Ничего не было видно, и слов было не разобрать.

Анано успела надеть платье и зажечь лампу. Она растерянно и, как мне показалось, бессмысленно суетилась. Увидев меня, она смущенно пробормотала что-то и растерялась еще больше, но вскоре справилась с собой и, пригладив руками волосы, быстро вышла наружу. Я выскочил на балкон. Анано уже исчезла во тьме.

В общем гомоне голос ее всплыл и заглох. Я сбегал вниз по лестнице и крадучись пробрался в дальний угол двора, откуда слышались голоса. Дойдя до забора, я затих и притаился. Все собрались перед домом учительницы Маро, что мне уже не понравилось. Я прислушался и уловил в этом шуме, что какой-то мужчина пытался залезть в окно к Маро, но женщины, оставшиеся у нее на ночлег, подняли тревогу. Все они в один голос твердили, что была на нем военная форма.

Я прятался за забором, мне было стыдно, и я боялся, как бы меня не заметили.

Боже, что за женщина Анано! С каким остервенением она боролась и наступала, спорила и успокаивала взволнованных женщин—мол, все это вам при виделось, в вашем возрасте и померещиться может. При чем здесь Сандро, он как лег спать, пьяный да усталый, так и спит мертвым сном. Лежит себе и храпит. Он даже не слышал вашей суматохи. Пойдите и посмотрите: от его храпа стекла звенят... Для пущей убедительности она несколько раз повторила: «Храпит».

Тихонько, как и пришел, я отошел от забора. По-прежнему слышались возбужденные голоса, но теперь уже спокойнее и миролюбивее. Анано, как видно, своего добилась. Заронила зерно сомнения, и хоть почва была не столь уж благодатной, но брошенное — оно проросло.

В жизни бы не поверил даже собственным глазам, что мой отец в полночь тайком ушел из дому и, как вор, лез к Маро в окошко. Во-первых, я был глубоко уверен, что отец такое совершить не может, а во-

вторых, разве люди его возраста не староваты для победных страстей?

Тем временем рассвело. Небо сначала побледнело, а потом свет стал ярче. Я сидел на ступеньке и ждал возвращения Анано.

Вдруг отец позвал меня сверху:

— Озо!

Я вскочил и бросился на зов. Отец стоял на балконе второго этажа подбоченясь и смотрел на меня с улыбкой.

— Объясни-ка, что там за сыр-бор?!

Я беспомощно развел руками: «Не знаю».

Ничего от меня не добившись, он через весь двор прокричал соседям:

— Эй, вы, что случилось, что вам привиделось?! Людям спать не даете!

Услышав голос отца, все безмолвно разошлись по домам. Я опять присел на ступеньку. Все как будто прояснилось... «Женщинам что-то привиделось, вот они и подняли шум, а если и не привиделось, то адресом они ошиблись», — думал я. Я очень легко убедил себя и почти успокоился. Вскоре, открыв калитку, вошла Анано. Она выглядела рассерженной, на ней лица не было. Быстро пересекла двор, взбежала по лестнице вверх и закрылась в комнате с отцом. Они оба долго не появлялись.

Завтрак прошел спокойно, отец был в прекрасном расположении духа, особенно после трех рюмок водки. Тут же решили зарезать барана и пригласить соседей, чтобы торжественно отметить возвращение Сандро Бодавели. Правда, кое-кто пытался опорочить доброе имя победителя, но ничего не вышло. Как говорится, пальцем в небо попали.

Барана зарезали и освежевали. За бараном последовали куры. Были початы и квеври. Первым открыл калитку тот фронтовик, который вернулся невредимым. Он был хмур и задумчив — сразу, как вошел, сел к столу и достал из кармана коробку с табаком. Сделал самокрутку из газеты, закурил. «Сандро, в какой стране застал тебя конец войны?» — первое, что он спросил. «Пиран, сейчас не время об этом, потом поговорим»,

— отложил этот разговор мой отец, и Пиран безропотно согласился. Вслед за Пираном пришли еще двое, всем известные кутилы и выпивохи, привлеченные угощением и вином. Они все сокрушались, как это их не пригласили на вчерашнее застолье. Одним словом, был у нас во дворе накрыт большой стол, и деревня веселилась от души. Только учительница Маро не пришла — в тот день она нигде не появлялась.

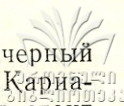
Зизи в деревне не было, вчерашнего ночного переполоха она избежала... Наверное, для девушки было бы очень неловко стать свидетельницей такого случая. Я представил себе, в каком бы положении она оказалась, и настроение у меня упало. Впрочем, я и до этого был недоволен и неспокоен. Весь день меня мучило такое ощущение, как если бы мы сложили какие-то предметы не так, как надо. Я ощущал внутренний разлад, мне казалось, что все мы себя обманываем, чтобы не утратить равновесия. Показное спокойствие замечал я и в Анано. Хотя она на все лады бодрилась... Уж лучше бы учительница Маро дня на три-четыре задержалась в Тбилиси, тем более, что приехала она из города довольная: «Хорошо устроила Зизи».

Я не знал ни минуты передышки: на меня возложили обязанности виночерпия, я носил пустые кувшины, наполнял их вином и подавал на стол.

Было жарко, утро обещало пасмурную погоду, но потом тучи рассеялись и припекло июльское солнце. Однако солнце сидящих за столом не смутило, никто из гостей с места не двинулся, сидели крепко, хотя от жары и вина все взмокли. Когда солнце стало клониться к закату и спряталось за домом, мне показалось, что двор вздохнул с облегчением.

В этот момент кто-то воскликнул: «Кариаули идут!»

Я стоял у калитки и сразу увидел, как по дороге, приближаясь к нашему дому, шествует семейство Кариаули. Их появление было неожиданным, но я не удивился, улыбнулся и даже обрадовался. Впереди шло старшее поколение. Кариаули-отец в тушинской шапке, в черных брюках и в свободной черной рубаше; большой живот обхвачен тонким поясом с пряжкой. Кариаули-мать была в чихтикопи, широкое скуластое лицо с обеих сторон обрамляли каштановые локоны, а



в руке она держала раскрытый старомодный черный зонтик и, казалось, не шла, а тихонько плыла. Қариаули-отец ступал тяжело, и видно было, что он стоит на земле прочно.

За ними следом появились сияющие дочери, рыжие, румяные от жары, в пестрых легких платьях. Шеи и руки сверкали белизной. Большие груди колыхались впереди хозяек. Я никогда не видел девиц-дэвов во весь рост. В прошлый раз они сидели за столом и показались мне коротышками. На деле же то, что они были крупными и рыжими, не лишало их своеобразной стройности и привлекательности. Қариаулевой вдовы я не увидел и подумал: наверно, она не пошла с ними. Но когда семейство Қариаули приблизилось к нашему двору, я заметил ее среди дэвов — голова и руки опущены, и вся она как бы уменьшилась, похудела.

Я открыл гостям калитку. Анано пошла им навстречу и пригласила: «Входите, входите! — Потом окликнула отца: — Сандро, встречай гостей!» Первыми во двор зашли Қариаули-старшие, за ними — Қариаулева вдова, а потом уже девицы-дэвы. Они все осветили своей красой! Обе показались мне чуть смущенными и растерянными, но я не понял, застенчивы ли они вправду или притворяются.

Кончился ритуал приветствий и рукопожатий, и Анано представила Қариаули своего брата. Отец с улыбкой встретил гостей, даже поцеловал руку Қариаули-матери. Я стоял рядом и со стороны наблюдал за церемонией. Секундой раньше я подумал: «Интересно, какое впечатление произведут на отца девицы-дэвы?» — и сразу стал свидетелем того, как отец сперва опешил и открыл рот, словно у него вырвалось крайне изумленное междометие. Он застыл и протянул руку Қариаулевой вдове, на нее даже не глядя. Бедный, он глаз оторвать не мог от сияющих золотым светом, как куст азалии, девиц-дэвов... Потом он растаял в улыбке, с почтительностью пожал им обеим руки и неуклюже поклонился.

Он проводил всех пятерых к столу, усадил, велел женщинам, хлопчущим у стола, добавить угощения. Собственноручно налил вновь прибывшим гостям вина

Арчил Сулакаури. Белый конь.

и только после этого сел против Кариаули и завел с ними задушевную беседу. Я снова занялся делом и о них забыл, но в суете все же заметил, как Анано подтишка пристально наблюдает за отцом, который смешил девиц-дэвов и сам от души смеялся...

Потом повторилось то же, что и вчера. Гости разошлись поздно вечером с разговорами и песнями. Кто-то попытался остаться и продолжить застолье, но поддержки не нашел. Соседи наскоро убрали со стола и перемыли посуду, но теперь отец в мытье посуды участия не принимал — после ухода девиц-дэвов он по-мрачнел.

Наконец мы снова остались втроем в нашей большой комнате. Мы с Анано сидели за столом, а отец снова ходил взад-вперед по комнате. По сравнению со вчерашним он не был так пьян и выглядел бодрее. Наверное, вчера он устал с дороги и потому опьянел, сегодня же он не спотыкался и не шатался, ходил, засунув руки в карманы, и напевал. Потом неожиданно обернулся ко мне.

— Когда поедем? — спросил он.

Я пожал плечами.

— Кто вас гонит? Оставайтесь до конца месяца, ничего не случится, — ответила за меня Анано.

— Нет, нет! — решительно сказал отец. — В Тбилиси нас ждет уйма дел... Если я здесь останусь, меня утопят в вине. Завтра я приглашен к председателю колхоза... кстати, как его фамилия?

— Квалиашвили?


— Ах да, Фидо Квалиашвили... Послезавтра еще кто-нибудь появится, потом — еще... Нет спасенья!

— А ты не ходи. Ведь не тебе одному опорожнять все деревенские квеври!

— Нет, Анано, нет! — отец прикурил папиросу прямо от лампы. — Послезавтра едем обязательно!

Итак, было решено остаться еще на один день в деревне и потом ехать в Тбилиси, ибо промедление могло пагубно сказаться на наших делах. Не говоря о том, что должны же мы были подать документы в какой-нибудь институт.

Я, конечно, радовался возвращению в Тбилиси. Но радовался скорее по старой памяти, поскольку радость эта была «запланирована» мною несколько лет назад.



Я посмотрел на Анано, думая, что только она может повлиять на решение отца. Заглянув ей в глаза, я сразу убедился, что Анано подчинится любому желанию брата без слов.

Не скажу, чтобы я противился возвращению в Тбилиси и хотел остаться в деревне. Это была бы ложь. Я мечтал о возвращении в Тбилиси, давно мечтал. Но сейчас — скажу не таясь — я думал, что мне будет трудно остаться с отцом один на один там, в Тбилиси. Пока я не успел наладить с ним отношения, потому и хотел еще ненадолго остаться в деревне, с Анано. Анано служила как бы мостиком между мной и отцом и облегчала наше общение.

Тяжело мне было покидать Анано. Во-первых, я к ней привык, а во-вторых, считал, что теперь особенно нужен ей: только я знал о ее думах и тревогах, в целой деревне я был единственный, перед кем она раскрыла свою боль, излила сердце. После нашего отъезда она останется одна-одинешенька, и кто знает, чем грозит ей это одиночество. В последнее время она за меня хваталась, как утопающий за соломинку. Рассказанное ею все глубже врезалось в мою память, и я боялся, что, вернувшись сюда, уже не застану ее в живых. Со временем меня стали мучить ее слова: «Разок еще ты приедешь сюда, вместе с отцом приедешь, когда меня уже не будет на этом свете... Ты приедешь на мои похороны, Озо, и на том спасибо».

— Давайте спать, уже пора, — проговорил отец, зевая, и ушел в свою комнату на втором этаже, оставив нас с Анано вдвоем. Анано устала от дневных хлопот, ей нужно было отдохнуть. Я молча встал и тоже отправился спать.

Возвращение отца так мне и представлялось. Два дня мы праздновали это событие, у нас в доме собралась чуть ли не вся деревня, много было песен и танцев. Но на душе у меня было муторно, словно эти последние два дня я фальшивил. Не мог я смириться с этой неискренностью, мучили меня угрызения совести.

Я, как лег, так и заснул — за целый день порядком устал. Не знаю, сколько я спал. Внезапно меня разбудило конское ржание, я повернулся на другой

бок и вспомнил, что видел странный сон (хотя все сны странны).

Не успел я вспомнить и осмыслить сон, как услышал скрип лестницы и осторожные шаги. Я сел в постели и прислушался. Явно по нашей лестнице то ли спускался, то ли поднимался кто-то. Вдруг сердце у меня сжалось — я представил себе отца. Быстро вскочив, я бросился к открытому окну.

Луна еще не зашла, и отца я узнал сразу. Он не спускался, а прямо с нижнего балкона перескочил через перила и бесшумно спрыгнул во двор, оглянулся на дом и двинулся к калитке. Он ступал размеренно, осторожно, а затем исчез в тени тутовых деревьев. Я вылез из окна и стал следить за ним с балкона. Я должен был узнать, куда он идет. Во двор я спуститься не мог, так как светила луна и отец бы меня непременно заметил. С балкона уже ничего видно не было. И, как назло, ни звука слышно не было, чтобы хоть по шагам понять, в какую сторону он направился — направо ли, налево? Если он пошел направо, то ясно, что он отправился к Маро и что это он был виновником вчерашнего переполоха. Но мыслимо ли после всего случившегося идти в дом, откуда тебя вчера выпроводили?..

Справа, за нашим забором, на углу мелькнула и исчезла знакомая тень. Вчера ночью именно там толпились ополчившиеся на отца женщины. Я опешил — абсурд да и только. Просто не знал, что делать. Ничего лучшего не придумал, как сесть снаружи на подоконник и равнодушно ждать еще большего шума и скандала, чем вчера.

В это время Анано вышла из комнаты, увидела меня на окне и подошла. Я снова напрягся.

— И ты не спишь? — спросила она.

— Не спится.

— Ляг и заснешь. До рассвета далеко.

— Немного посижу.

— Странная ночь, правда?

Анано, как видно, попыталась отвлечь меня, хотя почему ночь «странная», я не понял. Я спрыгнул с окна и стал вглядываться в ночь. Словно хотел проверить, вправду ли она странная. Воздух был пронизан лунными лучами. Звучали голоса ночных насе-



комых: стрекотали кузнечики, звенели цикады, слышалось множество таинственных звуков. Однако мне было не до них. Я весь напрягся и с минуты на минуту ожидал жуткого взрыва, который не мог не поглотить эти мирные чарующие ночные звуки.

Я взглянул на Анано — взволнована ли она, чувствует ли опасность? Отчетливо я ее лица не видел, но тревога и волнение от меня бы не укрылись.

— Еще день — и вы уедете, — сказала Анано. — Не вчера ли это было — отец привез тебя маленького, растерянного, испуганного... Ты не отходил от отца ни на шаг. Не хотел со мной оставаться. Забился в эту комнату и — в слезы...

«Неужели она ничего не слышала? Если нет, то сейчас услышит», — думал я, но время шло, а деревенскую тишину ничто не нарушало.

— Вот я и думаю, как быстро время прошло...

Послышался шум, и я вздрогнул. Но нет. Наверное, слух изменил или нервы не выдержали. Ничто в ночи не дрогнуло, только кузнечики наступали.

— Помнишь, как я вернула тебя с дороги? — засмеялась Анано. — Ох, и набегалась же я. А ты-то, ты-то, на ногах еле стоял.

— Я пошел через пашню, а то бы век тебе меня не догнать.


— Догнала бы! И не только догнала бы — поезд бы на ходу остановила... Сейчас ты спокоен, уже не рвешься туда сломя голову. Хотя зачем рваться, еще денек потерпишь...

Луна теперь освещала лишь полдвора. Она уже клонилась к заходу, тень от нашего дома поглотила большую часть двора.

— Что такое денек — не успеешь и глазом моргнуть...

Я чувствовал, что Анано беспокоит и мучает что-то, но разобраться в этом не мог. Я напряженно вслушивался в ночь.

Закричал петух, за ним — другие. Отовсюду, прорезая ночное пространство, несся этот холодный и острый крик. Я готов был к любому звуку, лишь бы не услышать того крика, который сорвал меня с poste-



ли вчера ночью... Все сроки прошли, но крика, которого я со страхом ждал, не последовало. Хотя как только Анано заговорила со мной, я мог бы понять, что вчерашнее не повторится.

— До рассвета еще далеко, — сказала Анано.

— Разве это дело? Только в нашем дворе петух не кричит. Будь я на твоём месте, заставил бы хоть одного кричать, — сказал я.

— Ты напрасно не спишь, пойдй ляг, — улыбнулась мне в ответ Анано и погладила по плечу.

— А ты?

— Я тоже лягу. Говорю тебе, до утра еще далеко.

Я снова перелез через окно и улегся, но заснуть не мог. Не знаю, как Анано — зашла ли она в комнату и легла или осталась на балконе. Отец вернулся, когда уже светало. Птицы только-только проснулись и щебетали всюю.

9.

Анано с утра ушла в колхозную контору и, уходя из дому, наказала мне: «Отец пусть спит, до моего прихода он, наверно, и не проснется». И правда, он не проснулся до полудня, во всяком случае из комнаты не выходил. Я сначала позавтракал, долго и бесцельно слонялся по двору, потом вспомнил, что надо уложить подаренные Анано книги и журналы. Их было немного. Всего — и книг, и журналов — едва ли больше тридцати: стихи и рассказы Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели; стихи и поэмы Важа Пшавела, его хорошо иллюстрированный «Рассказ маленькой лани»; «Хевис-бери Гоча» и «Элгуджа» Казбеги; «Капитанская дочка» Пушкина; «Герой нашего времени» Лермонтова; «Хаджи-Мурат» и «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого, «Дэвид Копперфилд» Диккенса; «Дон Кихот» Сервантеса и «Айвенго» Вальтера Скотта. Журналы — «Грузинская литература», «Мнатоби», два номера «Чвени таоба» и один «Кавкасион», все разрозненные и потрепанные. Это была библиотека Анано — на протяжении четырех лет моя духовная пища. Когда я кончал школу, все прочитанное мною охватывал этот список, если не считать детских книжек, которые я еще в Тбилиси прочел. Конечно, этого было мало, но

все же судьбе я был благодарен. Ведь могло у Анано совсем не оказаться книг и журналов. Что бы я тогда делал?

Я думал управиться скоро, но, дойдя до старых журналов, проникся к ним почтением. Листая их, я вспоминал радость, испытанную бесконечными ночами, когда я перечитывал их, снова и снова находя нечто новое и неожиданное. А сейчас я брал их в Тбилиси и думал: «Никогда с ними не расстанусь: они ведь спасли меня в самые трудные минуты жизни».

Увлечшись журналами, я не заметил, как вошел отец и весело рассмеялся. Был он выпавшийся и довольный. «Как много времени пролетело», — сказал он и вышел. Быстро побрился и умылся. «Иду к Фидо Квалиашвили, вчера приглашал», — сказал он, надел свою парадную форму, еще раз провел перед зеркалом расческой по волосам, оглядел ордена и медали.

Наконец-то мы с ним остались наедине. Лучшего случая и представиться не могло. И я наконец высказал ему то, что меня беспокоило. Осторожно сказав: «Может, возьмем Анано с собой в Тбилиси?» — я был уверен, что он спросит: «А зачем, из каких соображений?» Но он моими соображениями не интересовался, как видно, счел сказанное детским капризом и попытался обосновать сам, почему Анано необходимо остаться. То, что он сказал, я уже слышал от Анано. Несомненно, уезжать из деревни и гасить семейный очаг — безрассудство, но я ведь не просил увозить Анано насовсем. Я хотел, чтобы она поехала с нами ненадолго, месяца на два-три. Я думал, что новая обстановка отвлечет ее от горестей. В последнее время я убедился, что оставлять Анано одну нельзя. Чем грозит ей одиночество, я предвидеть не мог, одно было ясно: Анано во мне нуждалась. Я хотел сказать об этом отцу, но не осмелился, хотя он ждал, не скажу ли я что-то еще. А я как идиот промолчал, ни звука не издал. Отец смотрел на меня, смотрел, потом надел шапку и чуть извиняющимся тоном повторил: «Ну, я пошел к Квалиашвили».

Я проводил его взглядом — он шел четким военным шагом, твердо и уверенно.

Почти до полуночи ждали мы с Анано возвращения отца. Багаж был уже сложен, и Анано, как видно, нервничала. Один раз у нее сорвалось: «Куда он запропастился? Уж не забыл ли, что вам завтра ехать?» Потом сама себя успокоила: «Вся деревня, наверно, собралась у Квалиашвили — кто его отпустит?»

Проснувшись утром, я услышал, что отец разговаривает с Анано. Как я догадался, вчера он дома не ночевал. Разговор накалился, и я понял, что прав: отец вернулся недавно.

— Ты и вчера к Маро ходил? — спросила Анано.

— Что я там потерял? — отец засмеялся.

— Зачем обманываешь, я-то тебя знаю.

— Да нет же! — смеялся отец.

— Не смейся, Сандро!

— Допустим, был, ну и что?

— Мало на тебя в ту ночь женщины помоев вылили?

— Не их дело, к кому я хожу.

— Сам подумай, что говоришь!

— Дело говорю. Я ведь не насильно к ней ворвался. Все добровольно... А значит, никто в это нос совать не должен. Ясно? И еще. Можно ли меня обвинять в этом сейчас? Знаешь, откуда я вернулся, через какой ад прошел? Расскажи я им, в каком огне побывал, что перенес, — у них бы волосы дыбом встали. Скажи пожалуйста, не простили! Не успел с войны вернуться, как женщину оскорбил... Неужто забыли, что я и до войны туда ходил? Двое хотят встречаться и встречаются... У нее мужа нет, у меня — жены!

— Это не оправдание, Сандро!

— Знаешь, что главное, Анано? Мы с этой женщиной друг другу не врем. Я чист перед ней, она — передо мной.

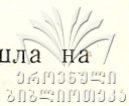
— Может, друг перед другом вы и правы, черт с вами! Но прав ли ты перед ребенком?

— Перед каким ребенком?

— Забыл, что у тебя сын есть?

— Да-а.

— Ты думаешь, он слепой и глухой? Ничего не видит и не слышит? Ночью, когда ты на цыпочках со



двора крался, думаешь, он не слышал? Я вышла на балкон, и он там стоял...

— Что, что он сказал?

— Что он мог сказать? Он молчал, но я ведь заметила...

— Озо уже не ребенок, он мужчина и как мужчина меня поймет!

Стоило Анано упомянуть меня, как отец сник, сразу прыть утратил. Он попытался бороться, но теперь защищался все беспомощнее, а под конец сложил оружие и сдался на волю младшей сестры. Да, хорошо я знал Анано — заранее чувствовал, что это произойдет. Разговор она завела с умыслом, чтобы напомнить о сыне, который невольно следил за каждым отцовским шагом и болезненно все увиденное переживал. Анано, конечно же, преувеличивала. Ночной переполох меня взволновал, и я боялся, что он повторится, остальное же переживал не столь болезненно, как рисовала Анано, хотя осадок в душе остался.

— Ладно, ладно! — прервал ее отец. — Что было, то было, не поправишь.

Наверное, их разговор на этом бы и кончился, но тут кто-то позвал Анано со двора. Я отчетливо услышал детские голоса и выглянул из открытого окна. Голос слышен, а человека не видно.

— Тетя Анано!

Анано вышла на балкон и крикнула:

— Открыто!

Калитка со скрипом отворилась и во двор зашли трое — Илоевы дети: первыми вошли девочки, за ними просунул в калитку курчавую голову мальчик, почему-то осмотрелся кругом, внимательно оглядел двор и тоже вошел, встав между сестрами.

— Можно, тетя Анано? — спросила старшая.

Я узнал голос, это она звала с улицы Анано.

— Что за вопрос? Входите, входите! — Анано сбегала по лестнице навстречу детям. Потом она обняла всех троих за плечи и повела к дому.

Они послушно дошли с ней до лестницы, но там остановились и ни с места. Как ни уговаривала их Анано, они ни в какую на балкон подняться не хотели.

Когда я видел Илоевых детей, на меня накатывало необъяснимое чувство. Я и жалел их, и в то же время испытывал почтение, словно они старше меня.

Анано так и не смогла уговорить детей. «Подождите», — сказала она и взбежала по лестнице. Я быстро натянул брюки, вылез через окно и подошел к детям. Все трое стояли, опустив головы, на меня не глядя. А я смотрел на них, как на выпавших из гнезда птенцов, спасение которых только от меня и зависело. Я осторожно погладил всех троих по голове. Не могу сказать, что моя ласка пришлась им по душе: они насупились и нахохлились. Может, застеснялись меня, как чужого?.. А возможно, они не приняли проскользнувшую жалость. Я же страстно желал, чтобы они запомнили меня. И запомнили как человека, который расположен к ним по-доброму и на которого они всегда могут положиться. Моему патетическому порыву дети не вняли. Но я, не теряя собственного достоинства, потрепал их по плечам.

Анано вышла на балкон вместе с отцом, приговаривая: «Это Илоевы дети, они хотят тебя видеть... Ты ведь хорошо помнишь Ило?» «Еще бы не помнить», — развел руками отец и взглянул на детей с балкона. Все трое обратили большие лучистые глаза на мужчину в военной форме, с орденами и медалями на груди. С надеждой и упованием, изумлением и восторгом стояли они перед ним, как перед спасителем, как перед богом, как перед неземным чудом.

— Дядя Сандро, — после долгого колебания решилась заговорить старшая. — Вы сегодня уезжаете?

— Да, детка, собираемся ехать сегодня.

— Дядя Сандро... может...

— Говори, детка, говори! Не стесняйся! — подбодрил ее отец.

— Вы нашего отца не встречали? На фронте... Может, случайно где-нибудь встретили... дядя Сандро.

Наступило тяжкое молчание. Я этого выдержать не смог, взбежал по лестнице и бросился в дом. У меня комок к горлу подступил, я нервно заметался по комнате, натываясь на стены. Я слышал растерянный голос отца, он, что-то объясняя детям, говорил отрывисто. Возможно, успокаивал их, вселял надежду: «Если не сегодня, то завтра отец ваш вернется обязательно».

но». Что еще мог он сказать детям? Наверное, искал самые нужные слова.

Вдруг я увидел на буфете губную гармошку и, не задумываясь, хоть это был подарок отца, решил отдать ее мальчику. Я схватил гармошку и кинулся во двор. Отец уже молчал, и теперь Анано уговаривала их, приглашая в дом: «Давайте позавтракаем вместе», — но дети отказывались наотрез. Я сбежал по лестнице и протянул блестящую никелированную гармошку мальчику: «На, возьми». Он спрятал руку за спину и посмотрел на меня снизу вверх. «Говорю, бери!» — повторил я. Мальчик отрицательно замотал головой и глянул на сестер.

— Знаешь, что это? — спросил я.

— Знаю! — ответил он.

— Была у тебя когда-нибудь такая гармоника?

— Нет!

— Если не было, бери!

Мальчик взглянул на сестер еще раз и гармонику взял. Видно, не выдержал соблазна, да и я заявил ему категорично: «На, бери». Выхода не было и он моей воле подчинился. Старшая сестра поблагодарила нас, и все трое безмолвно удалились, по-одному проскользнув в чуть приоткрытую калитку.

— Что, у этих детей нет матери? — спросил отец.
— Зачем она детей посылает? Я чуть не умер!

— Она парализована, не выходит, — ответила Анано.

Я подошел к калитке и посмотрел вслед уходящим детям. Почему-то мне казалось, что мальчик оглянется и, довольный, улыбнется. Но я ошибся: мальчик оглядываться не думал. Я ждал, что, выйдя со двора, сестры с любопытством станут гармонику рассматривать, но и тут ошибся. Дети шагали с опущенными головами, старшая впереди, потом средняя, а за ними плелся мальчик, по-прежнему держа мою гармонику в правой руке. Когда он раскачивал рукой, солнечные лучи посверкивали на блестящей поверхности металла. Я удивился и даже огорчился, что он не поднес гармонику к губам и не дунул в нее. Хоть бы поинтересовался, какой у нее звук.

В полдень мы уже стояли в центре деревни, где собралось множество народу, почти вся деревня вышла нас провожать. Отец после сестрицыных нравоучений был не в духе, но виду старался не подавать. Держался бодро, говорил громко, смеялся, кого-то обнимал и хлопал по плечу. Но его выдавал постоянно ищущий взгляд. Он все время ловил меня в толпе и, увидев близости, словно бы успокаивался. Его взвинченность мне не нравилась, и я сокрушался: уж лучше бы Анано промолчала. Она чувствовала это и все жалась ко мне. Я тоже хотел одного — быть с Анано рядом. Лишь теперь, перед отъездом, я заметил, как резко она похудела, побледнела, растаяла... Меня пронзила страшная мысль, заставившая содрогнуться: «А вдруг я вижу Анано в последний раз?» — и, испуганный, я взглянул ей в глаза. Анано улыбнулась и кивнула мне, словно угадала мою мысль, и от внезапного страха пот проступил у меня по всему телу и полился ручьями. Анано схватила меня за локоть и спросила:

— Что с тобой, Озо?

— Ничего, — ответил я. — Жарко.

— Очень жарко, — согласилась Анано, — и душно.

Когда пот просох, я во искупление кощунственных мыслей улыбнулся Анано и обнял ее:

— Поехала бы с нами...

— Не бойся. Все будет в порядке! Только берегите друг друга, ты и Сандро.

— Поехала бы ненадолго.

Анано сжала мое лицо в ладонях и долго смотрела на меня. Потом поцеловала и повела к линейке.

Подошло время отъезда.

Проталкиваясь сквозь толпу, я чуть поодаль от дороги увидел Илоевых детей: они стояли особняком и смотрели на происходящее. Мальчик как взял, так и держал мою гармонику в правой руке.

Мы уселись на линейку, где помещалось пятеро пассажиров. Самым почетным считалось сидеть на козлах, рядом с возницей. Остальные садились на линейку попарно, спиной друг к другу, слева и справа. Отцу, конечно, предложили сесть на козлах, но он отказался: «Сяду с сыном, мне так лучше». Возница гик-



нул на лошадей, я улыбнулся Анано и махнул ей рукой. Наш «экипаж» медленно двинулся к телавской станции.

Так я покинул деревню.

Позади остались крытые черепицей каменные домики, деревенские улочки, фруктовые сады, синие виноградники, колосющиеся поля, маленькая белая церковь с полуобвалившейся оградой и, что самое главное, осталась Анано. Подобную ей я не встречал ни до, ни после. Как видно, бог создал людей неблагодарными. Я сижу на линейке, думаю об Анано с нежностью, жалею и сокрушаюсь, что осталась она одна-одинешенька и не с кем ей поделиться.

Хорошо, что я думаю о ближнем, мучаюсь, но что это в сравнении с энергией любви, которую Анано на протяжении четырех лет тратила на меня? Хотя, может, и не стоит пядями и золотниками измерять и взвешивать истинные чувства?

Наша линейка ехала вдоль колосющейся нивы. Вот как раз то место, откуда Анано меня, беглеца, вернула. Тогда здесь была пашня, я, не видя конца, шел по ней, и передо мной с карканьем взлетела стая ворон. Я от неожиданности даже вздрогнул, воронье карканье показалось мне дурным знаком, дурным настолько, что я гнал от себя предчувствие. Этой дорогой мы с Анано возвращались назад в деревню. Она шла впереди, а я, как теленок на привязи, плелся, отставая на три шага, сзади... Дорога эта казалась мне тогда бесконечной.

Сейчас мы перевалим холм и покажется Алазанская долина, утопающая в прозрачно-розовом тумане, а за этим трепещущим туманом неожиданно, как во сне, откроются заснеженные вершины Кавказа. И пускай, искушенный, ты ждешь их заранее — все равно они предстают пред тобой совершенно неожиданно...

— Озо, — толкнул меня плечом отец, — я должен сказать тебе кое-что, и, ради бога, пойми меня правильно.

Я посмотрел на него и дал понять без слов: «Слушаю!».

— Я должен передать тебе просьбу Маро... учительницы Маро... Ты ведь знаешь, город есть город, де-

вочка там впервые. И одна. Ей может прийти трудно. Не «может», а точно трудно. Короче, она просила, чтобы ты за Зизи присмотрел, адрес дала, посылку собрала... Анано я об этом не говорил. Она за что-то рассердилась на меня и... Ты же знаешь женщин!

— Да, знаю.

— Одним словом, учительница Маро на тебя надеется. Она сказала, что вы четыре года за одной партой сидели, дружили.

— Даже если бы она не просила, я бы все равно за Зизи присмотрел.

— Говорят, она девочка талантливая...

— Пожалуй, талантливая.

— Наверно, и в институт поступит.

— Как видно, поступила, раз в деревню не вернулась. Она сама говорила, что у них экзамены начинаются на месяц раньше. Наверно, уже сдала.

— Да, сынок, да.

10.

Неотложные дела были сделаны: квартиру убрали, карточки получили, документы в индустриальный подали. До этого на Сабурталинском базаре купили мне летнюю одежду — брюки, сорочку, туфли. Отцу предлагали работу во множестве мест. Всю неделю он думал, колебался, слишком велик был выбор — и никак не мог решить.

Нарядив меня во все новое, отец вынес из кладовки увесистую корзину, обшитую бязью, и сказал: «Это отнесешь Зизи». Мне было неловко выходить на улицу с корзиной, и я осторожно сказал отцу: «А не переложить ли все в чемодан, так и нести будет удобнее». «Ради бога, не заставляй меня копаться в чужой корзине, — ответил он. — Ничего, чины и медали за это никто у тебя не отнимет». Я спросил: «Как ты от Анано это утаил, а?» «Знай наших», — он хитро подмигнул мне. Я тоже улыбнулся, но только отцовской наивности: он, бедняга, полагал, что Анано не заметит, как он вывез из деревни огромную корзину. О, святая наивность!

Раньше я представлял себе возвращение в Тбилиси иначе. Это должно было походить на радость, с ка-

кой вырываются из плена. Не ожидал я, что по приезде меня захватит повседневная пустая мелочная суета.

Мог ли я подумать, что даже не встречу с бывшими одноклассниками, которых давно не видел? Я уверен был, что мы встретимся с восторгом, будем вместе бродить по тбилисским улицам, взахлеб обмениваться новостями. А время шло, и никого из старых друзей я еще не повидал... Не знал, что с ними, как кончили они школу, где собираются учиться дальше. Первое время я посылал им из деревни коротенькие письма, но, не получая ответа, махнул рукой — чистые тетрадные листы и так не достанешь. Зато, повторяю, я ждал радостной встречи с ними в Тбилиси.

С тяжелой корзиной я направился на улицу Платона, где снимала комнату Зизи. Эту улицу я помнил хорошо: начиналась она в нашем квартале, а упиралась в площадь Карла Маркса. Такую узкую и короткую улочку в Тбилиси редко найдешь. Она была как коридор, и ребята нашего квартала, желая сократить дорогу, иногда ходили по ней.

Вечерняя тень легла на тротуар, солнце высвечивало лишь окна вторых этажей. Я потихоньку шел вперед — пройду метров десять и останавливаюсь гередохнуть. Корзина оттягивала руки, на ладонях вскочили волдыри. И что она туда напихала — запчасти, что ли, для трактора?!

Я подошел к углу, откуда улица расширялась, создавая впечатление маленькой площади. До войны здесь по обеим сторонам были духаны и мастерские, а сегодня сохранилась лишь парикмахерская. Рядом с парикмахерской пекли грузинский хлеб, на противоположной стороне — иранский лаваш, там же была кузница, чуть дальше — красильня... Духан Пармена... Возле церковного двора, в подвале, устроил мастерскую старый художник. Позже я узнал его фамилию — Зизиашвили. Этот художник не пускал в наш квартал Пиросмани: «Не умеешь рисовать», — а сам рисовал вывески, даже наша церквушка была расписана им.

Перед парикмахерской я увидел солдат; одни сидели на краю тротуара, другие разговаривали стоя. Потихоньку, с остановками, я к ним приблизился — мне

показалось странным, как они одеты. Подойдя к ним, я понял, что это пленные. Пленных я видел впервые и, опустив корзину на землю, уставился на них. Там стояли и другие зеваки вроде меня. Стояли и с жадным интересом разглядывали чужаков, спорили, судили-рядили. Я удивился, как чисто и ладно одеты пленные; и держались они с таким достоинством, что кое-кого даже раздражали: «Раз вы пленные, то и будьте как пленные. Мы не забыли, что вы с нашими делали». Но у противоположного мнения сторонников оказалось больше. И под конец все сошлись на том, что пленные тоже люди и обращаться с ними нужно по-человечески. По-грузински пленные не понимали, да ничем, казалось, и не интересовались. По одному они заходили в парикмахерскую и выходили выбритые и подстриженные. Кто-то высказал сомнение, что навряд ли это немцы. В школе я учил немецкий и понял, что они говорят на другом языке.

«Сейчас все выясню», — сказал один из тех, кто требовал для пленных особого режима. Он, как видно, изменил свое мнение — подошел к пленным с улыбкой и даже предложил папиросы, от которых они не отказались. Добровольный парламентарий языком мимики и жеста, а также с помощью импровизированного наспех «эсперанто» выяснил, что пленные — мадьяры, венгры. Это известие произвело впечатление: с немцами, как со вчерашними врагами, контактов избегали, а тут будто гора с плеч свалилась. Все развеселились и загалдели. Я поддался общему настроению, хотел вмешаться, высказаться. Но за дальнейшим ходом событий проследить не смог, потому что услышал знакомый голос.

— Озо! — это был возглас удивления и восторга. — А я к тебе шла!

Зизи обняла и расцеловала меня, радостно заглядывая в глаза. Я тоже обрадовался так, что у меня язык отнялся — ни слова произнести не мог. А она говорила без умолку: «Я тебя еще издали узнала, прямо глазам не поверила... Мама мне сообщила, что твой отец вернулся, вот я со дня на день и ждала вашего приезда...» Она сразу выпалила столько, что разобраться в сказанном было трудно. Я с улыбкой смотрел на нее и слушал вполуха, пока наконец не опомнился: «Давай уйдем отсюда». Ряды любопытных тем вре-

менем пополнялись, между венграми и грузинами завязался оживленный разговор. Зизи только сейчас заметила пленных и сказала: «Это же венгры». «Где ты до сих пор была? — ответил я полушутя. — Мы с таким трудом установили их национальность!»

Мы дружно взялись за корзину с двух сторон и направились на улицу Платона. За два месяца Зизи заметно изменилась. Сначала я не понял, в чем причина метаморфозы, но по дороге заметил, что она сделала короткую стрижку и покрасила волосы в соломенный цвет, выщипала брови, оставив над глазами две тоненькие дужки. Вместе с тем она показалась мне побледневшей и похудевшей. Возможно, впрочем, впечатление это создавалось за счет свободного платья с высокими плечами и туфлями на толстой деревянной подошве. Единственное, что сохранилось от прежней Зизи, — это резкий запах домашних кремов.

Увидев Зизи, я сразу чутьем понял, что на экзаменах она провалилась...

Так мы шли, держа корзину за ручки с обеих сторон, — ноша стала легче, и я шагал свободно. Разговаривая с Зизи, я заметил идущего навстречу школьного товарища, Дурмишхана Цилосани, обрадовался, уверенный, что он сейчас тоже меня узнает и мы поздравимся. Но он прошел мимо, даже не взглянув — не узнал или не захотел узнать? Хотя зачем ему избегать меня?

— Знаешь, как я по тебе соскучилась, — говорила Зизи. — И по другим, особенно по Анано.

— Я тоже скучал. Наверное, и Анано по тебе скучает.

— Как поживает отец, он вернулся невредимый?

— Невредимый! Ненавижу это слово.

— Эх! — вздохнула Зизи.

— Что такое? — спросил я.

— Ничего.

— Как так «ничего»? — будто не понял я.

— Не смогла я сдать... Провалилась.

— Но все же, что тебе сказали?

— Что мне могли сказать? Приходи, сказали, на

будущий год... Я сама виновата. Разве так на экзамен приходят? Я толком не знала даже, что сдают

— Домой сообщила?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю, что делать. Если сообщу матери, она увезет меня отсюда, а если увезет, то как же я буду готовиться?

— Опять туда же сдавать хочешь?

— Конечно!

— Может, попробуешь в другое место?

— Если и десять лет понадобится, все равно туда сдам.

— А матери сказала, что зачислили?

— Я написала ей, что взяли вольнослушательницей... Я здесь познакомилась с девочками и ребятами, они хорошие. Иногда на лекции буду ходить... Озо, нельзя мне в деревню, совсем от жизни отстану.

— Что тебе сказать? Пожалуй, и впрямь лучше, если ты останешься здесь.


— В конце концов, если станет трудно, начну работать! Пойду на завод, там мне хлебные карточки дадут и в городе пропишут. Как ты думаешь, а?

— Воля твоя, Зизи, я лишь одного хочу... Хочу, чтобы тебе хорошо было.

— Осенью откроется сезон, буду в театры ходить, все спектакли посмотрю... Был бы у меня опыт, сдала бы как пить дать. Станцевала и спела я лучше всех. Такого слуха и чувства ритма, как у меня, ни у кого там не было.

У подъезда, выкрашенного в красновато-коричневый цвет, она остановилась: «Я здесь живу», — и свободной рукой толкнула дверь. Дверь эта в глухой кирпичной стене была очень похожа на подъездную, вот я и подумал, что мы входим в здание. Но она распахнулась, и за нею я увидел чистый ухоженный тбилисский дворик с балконами и галереями. Чтобы войти во двор, нужно было спуститься ступенек на пять-шесть вниз.

— Ну и жара, я задыхаюсь! — сказала Зизи и носовым платком вытерла пот со лба, потом почти шепотом предупредила: «Моя старуха со странностями, ничему не удивляйся».



Я взялся за корзину обеими руками, поднял ее и мигом перенес через двор. Был воскресный вечер, во дворе и на балконах были люди, и мое появление с корзиной должно было произвести сенсацию, так и случилось. Поднялся переполох: «Чья это корзина?» — но по лестнице быстро сошла Зизи, и все стало ясно. Она ввела меня в галерею.

Войдя в дом, я положил корзину и, заранее напуганный, собирался сразу попрощаться и уйти, чтоб не столкнуться со старухой. Но Зизи остановила меня, и тут из комнаты вышла женщина, о которой Зизи только что высказалась столь пренебрежительно. Со слов Зизи я представил ее злобной, как в книгах, жадной старушенцией, а навстречу мне вышла дама приятной наружности — статная, высокая, седая. Черты лица были утонченные, правильные, хоть и в глубоких морщинах. На носу блестело золотое пенсне. Выйдя из комнаты, она спросила: «В чем дело?» — и, увидев меня, вежливо поздоровалась.

Я все же не поверил до конца первому, непосредственному впечатлению, хоть она и пригласила меня в комнату, усадила за обеденный стол, над которым куполом нависал большой зеленый абажур. Я сидел настороже и ждал, что вот-вот начнутся странности. Зизи я верил, но старая дама сегодня свои странности обнаруживать, кажется, не собиралась.

Я с удовольствием остался и выпил чашку чаю. Остался, потому что мне здесь понравилось: честно говоря, никогда еще не попадал в столь уютную обстановку. Я даже немного позавидовал Зизи.

И стол, и покрытая ковром грузинская тахта, и шкафы, книжные полки, кровать, ширма — все было расставлено таким образом, что в комнате избытка мебели не ощущалось. Особенно мне понравился тот уголок, где у книжных полок стоял низкий столик и кресло.

Мы молча пили чай с виноградным вареньем, похожим на то, какое варила Зизина мать. Варили его на виноградном соке, без сахара, и получалось очень вкусно.

Оба окна были открыты. На дворе уже стемнело, стояла тишина.

Выпив чаю, хозяйка принесла папиросу с пепельницей и закурила, пуская кольца дыма в сторону открытого окна. Потом мы понемногу разговорились, и она поинтересовалась, кто я, где учусь. Я рассказал ей, что родился и вырос в Тбилиси, в этом квартале, она же заметила, что пребывание в деревне на мне сказалося — я выгляжу здоровым и бодрым.

Засиживаться я не стал, поблагодарил старую даму за гостеприимство и простился. Зизи вышла меня проводить.

— Чем ты недовольна? — спросил я сразу, как только мы вышли.

— Ничем. Пусть не лезет в чужие дела!

— Постой, почему ты так?

— Тебе этого не понять, для этого нужно быть женщиной!

— Я думаю, ты все преувеличиваешь.

— Попробуй-ка целый день просидеть с этой старухой, — раздраженно проговорила Зизи. — В десять спать ложится, в семь утра уже на ногах и ходит взад-вперед.

— А разве там не так же было? — я имел в виду деревню.

— Там у нас дело было, а здесь чего ради я буду вставать в семь утра?!

Так, разговаривая, дошли мы до парикмахерской, где недавно на тротуаре сидели венгры.

— Теперь я тебя провожу, — сказал я, и мы повернули назад.

Она усвоила новые словечки, обороты и движения. В общем изменилась ощутимо. Я подумал: при таком непоседливом нраве ей и впрямь трудно ужиться со старой женщиной. Что-то в ней меня беспокоило и даже отталкивало. Я словно чувствовал: все не так, как кажется на первый взгляд.

— Оставим старуху... Расскажи о себе, Озо, — она обеими руками повисла у меня на руке и потерлась головой о мое плечо: — С девушками гуляешь?

— А то нет, — похвастался я.

— Помнишь, как ты опьянел?.. Трудно мне с тобой пришлось! Я тебя отвела и прислонила к дверям

Анано. Потом она целую неделю смотрела на меня косо.

Мне не хотелось вспоминать эту историю, и я прервал ее, сказав: «А ты постриглась». «Конечно, постриглась, не с косою же ходить», — засмеялась она.

— А как ты до сих пор удерживалась? Наверное, мать не позволяла?

— Срезала волосы и продала. Кто бы здесь за нами ухаживал? Да и не модно сейчас с косою ходить.

— Продала?

— Да, отнесла на киностудию, там за них дали сто пятьдесят рублей. Мы их сразу прокутили!

— Да...

— Об этом я в другой раз расскажу, очень смешная история.

— В другой, так в другой... Мы уже пришли.

— Если хочешь, пройдемся еще, и я расскажу.

— Нет, нет...

Зизи, как видно, мой отказ обидел: она вдруг толкнула дверь и влетела во двор. Дверь сама за ней хлопнулась.

По дороге я пожалел, что прервал ее. Теперь меня интересовало, с кем она познакомилась, с кем подружилась, с кем прокутила вырученные за волосы сто пятьдесят рублей? В Тбилиси она освоилась. Правда, продажа волос меня немного удивила, но зато понравилась ее решительность... Она ничего не боится, рвется вперед, рассчитывает только на себя, если надо — пойдет работать. И все-таки душу точил червь сомнения: ведет она себя так, словно ничего не потеряла, завалив экзамен, словно наоборот — приобрела драгоценный опыт, который пригодится ей в будущем. Она вообще дала мне понять, что чувствует себя в Тбилиси как рыба в воде... Но, может быть, мне это только казалось, а на самом деле она скрывала от меня то, что переживала.

Я сам лишь после многих колебаний могу решиться на определенный шаг, да и потом сомнения не покидают меня. Такой уж я человек. Так устроен... Не могу при первом же знакомстве похлопать человека по плечу и завести с ним дружбу; не могу взять хлеб без

очереди; не могу пересечь улицу там, где нет перехода, или подняться в трамвай с передней площадки; не могу сказать человеку «приду» и не прийти; не могу сделать еще тысячу вещей... и когда я смотрю на других, меня тревожит мой нрав, все эти «не могу»... Лучше бы знать, что я — могу!

Когда я вернулся, отец спросил: «Ну как она, чем занимается, привыкла ли к здешней жизни?» Я ответил, что устроилась она замечательно и чувствует себя прекрасно. Пока меня не было, отец испек на керосинке мчади: лепешка была еще горячей — и сыр у нас был. Мы вкусно поужинали. Больше он про Зизи ничего не спросил, я тоже не стал делиться впечатлениями до конца. «На днях еще разок пойду, повидаяю ее, узнаю, что у нее на уме», — решил я. Но дни летели — и мне было не до Зизи: начались лекции в институте, и свободного времени совсем не оставалось.

Я отложил визит к Зизи до воскресенья, но именно в воскресенье мы с отцом пошли на Кукийское кладбище. Отец сказал:

«Вчера я видел во сне твою маму... Пять лет не был на могиле Нино, боюсь — не найду ее». Отец расстрогал меня и всколыхнул чувство, которое я схоронил в глубине души. На кладбище я шел с радостью, ибо после случая в деревне думал, что мою мать он забыл навсегда.

Я не помнил ни где похоронена мать, ни какая у нее могила. Мы долго бродили по кладбищенскому лабиринту то вверх, то вниз.

«Должна быть где-то здесь», — говорил отец. Мы подходили, но нас ждало разочарование. Он останавливался у чужих могил, читал надписи и с горьким удивлением восклицал: «Ого, и этот здесь оказался!»

Мы вышли из дому спозаранку, становилось жарко, солнце стояло прямо над нами. Мы нашли сторожа, но он не понял, чего мы хотим от него, о чем спрашиваем. Видать, накачался вином или водкой: от него так разило, что меня чуть не стошнило. Я в отчаянии стоял и смотрел на смущенного отца, который был растерян, но надежды не терял. Когда я совсем уже отчаялся, он радостно крикнул: «Вспомнил!» — и хлопнул меня по плечу: «Пошли». Быстрыми шагами он направился в глубь кладбища, и я чуть не бегом ки-

нулся за ним. На этот раз память ему не изменила, и мы подошли к могиле с чугунной решетчатой оградой, где трава выросла по пояс. После долгих мучений нам удалось открыть заржавевшую дверцу. Мы вошли внутрь и, присев на корточки, принялись руками рвать траву. «Хоть бы ножи взяли», — сокрушался отец. Потом он руками раздвинул траву и показал мне надгробный камень с надписью — вот он! У отца был такой счастливый вид, что он опять растрогал меня до глубины души. На белом мраморе потемневший золотыми буквами было написано: «Нино Михайловна Ториа-Бодавели (1906—1940)». Оказывается, мама умерла в 34 года, а я-то думал, что она была пожилая. Иногда мне вспоминаются темно-синие глаза, светлые, коротко подстриженные волосы, бледное нежное лицо. Вспоминается, как отец с гордостью заявлял гостям: «У меня жена из Колхиды».

Я долгое время не знал, от чего она умерла. От меня это скрывали, а я и не интересовался. Между тем время шло, и я все чаще вспоминал о матери, думая: что же с ней стряслось, что произошло? Потом уже я догадался, что она была неизлечимо больна — потому от меня эту болезнь и скрывали.

Мы проработали почти до вечера. Взмокшие от пота, рвали и рвали траву — ни одна коса не смогла бы скосить ее так ровно. Сил и времени мы положили много и очень радовались результату. Мы расчистили и прибрали могилу и, облокотясь на чугунную ограду, молча на нее смотрели. В тот вечер я впервые ощутил, что такое хоть в малой степени выполнить свой долг перед кем-то. Не знаю, откуда пришло это сладостное чувство... Мной овладело блаженное спокойствие...

А к Зизи я наведалься только спустя месяц, в первых числах октября. Дверь мне открыла хозяйка. Сначала она не узнала меня. Но когда я напомнил о себе, пригласила войти в дом и посадила на прежнее место. Из открытого окна была видна Мтацминда.

— Вы, наверное, к Зейнаб?

— Да, калбатано. — Я вспомнил, что настоящее имя Зизи было Зейнаб.

— Зейнаб здесь больше не живет, ушла, сказала она спокойно.

— Куда ушла?

— Не знаю... Дней десять назад я вышла получить пенсию и, вернувшись домой, обнаружила на столе записку.

Она выдвинула ящик шкафа, достала оттуда клочок бумаги и протянула мне.

Я взял записку.

— Если позволите...

— Разумеется, я для того и даю, чтобы вы прочли.

Взглянув на записку, я узнал почерк Зизи.

«Калбатано Мариам!

Вы очень добрая, очень хорошая женщина, но я не могу у Вас жить. Простите меня. Я сняла другую квартиру и переезжаю. Матери я все сообщила. Тороплюсь, не смогу Вас дождаться. Ваша Зейнаб».

Я с изумлением посмотрел на хозяйку, которая, поправив золотое пенсне, села напротив меня.

— Удивлены? — спросила она с улыбкой.

— Очень.

— Я-то особенно не удивилась, но немного обиделась. Я вообще не собиралась брать постояльцев, у меня никогда их не было, но все уговаривали — ты старая, тебе одной трудно... Возьмешь эту девочку к себе, сделаешь доброе дело, она будет тебе как дочь, а когда одряхлеешь, за тобой присмотрит. Одним словом, уговорили. Потом я привыкла и даже полюбила ее. Думала: «Она талантливая, я ее воспитаю, дам образование, поставлю на ноги». Я могла, действительно могла многое дать этой девочке, но она не захотела.

Она подперла лицо руками и задумалась. Я чувствовал себя неловко — сбежала и даже адреса не оставила... Я готов был извиниться вместо Зизи!

— Мне не нужна сиделка, я уйду из этого мира так, чтобы никому не пришлось за мной ухаживать. Но есть у меня сокровище, за которым уход действительно нужен. Оно перешло ко мне по наследству... Кстати, я ведь не знаю вашего имени...

— Меня зовут Озо.

— Милый Озо, когда я решила взять Зейнаб к

себе (она подчеркивала: «Зейнаб», а не «Зизи»), я, разумеется, думала о своем сокровище. Хотела приобщить ее к нему. Она решила стать актрисой, не правда ли? Пожалуйста! Ко мне приходили сам Алекси-Месхишвили, Мако Сафарова-Абашидзе, сам Сараджишвили!¹

Говорила она длинно и скучно, я хоть и слушал ее внимательно, но все же не мог понять, о каком сокровище она твердит и почему к ней ходили известные артисты. Потом она долго объясняла мне, какая трудная и сложная профессия у актеров и как она старалась внушить это Зейнаб.

— Я хочу показать вам свое сокровище и доказать, что я права, — сказала она под конец и встала. Отодвинула портьеру за креслом (которую я считал деталью декорации), и мы оказались перед дверью. Прежде чем открыть дверь, она указала рукой на книжные полки: «Это только разные энциклопедии».

Хозяйка дома вошла в «сокровищницу», и я за ней следом. Мне сразу ударил в нос запах старых книг и пыли. В комнате было темновато, но она зажгла свет, и вдруг я увидел, что нахожусь в огромном книгохранилище.

— Можете не верить, но этими книгами пользовался великий Илья... Иванэ Мачабели... Иакоб Гогешвили...

— Вы были знакомы с Ильей Чавчавадзе?

— Конечно.

— Вот это да!

— Эта библиотека значительна еще тем, что здесь в свое время работали великие люди. С этой стороны отдел истории. Иванэ Джавахишвили целую неделю сидел здесь с утра до ночи. — Мы ходили между полок, и калбатони Мариам с восторгом говорила: — Это английская литература! На английском языке, батона!

— Это русская классика! Редчайшие издания.

¹ Алекси-Месхишвили, Сафарова-Абашидзе — известные грузинские актеры. Вано Сараджишвили — знаменитый грузинский певец.

— Это греческая и римская поэзия! Уникальные книги!

— Это грузинская литература и история!

— Это французские книги... Это немецкие!

— Это уже Восток! Персия, Аравия, Индия, Япония!..

— Это живопись! В Грузии самая большая коллекция альбомов — у меня.

— А это театр!..

Здесь калбатони Мариам остановилась и многозначительно посмотрела на меня.

— Это все я предлагала Зейнаб, но «госпожа» не пожелала. Я хотела, чтобы она, если ей суждено стать актрисой, была человеком образованным, подлинным профессионалом. Литературу на грузинском языке она могла читать сама, а книги русские и французские я бы ей переводила... Только бы она следила за книгами, стирала с них пыль. На это ушло бы полчаса в день, не больше. Я постарела, не могу уже... Высота здесь пять метров, как мне дотянуться?

Мы вышли из книгохранилища, но калбатони Мариам продолжала свое:

— Пять лет никто не приходил... Правда, была война, но ведь книга нужна и во время войны. Петрунутые книги — это ужасно. Боже, кто только не приходил, кто только не пользовался этими книгами. И Василий Барнов здесь бывал, и Михаил Джавахишвили, Павле Ингороква, Дмитрий Узнадзе, Евгений Микеладзе... Семь лет назад сюда трижды приходил Галактион... А однажды пришел Гамсахурдиа и спросил какую-то немецкую книгу, уж не помню какую, причем хотел взять ее домой... Батони Константинэ не знал, что на дом книг я не даю никому... Кажется, он ушел обиженный.

Я больше не садился, да и калбатони Мариам не предложила сесть — со счастливой улыбкой она углубилась в воспоминания, называла и называла фамилии людей, которых я, за редким исключением, не знал. Я слушал ее оглушенный, эти книги ошеломили и напугали меня. Никогда раньше не видел я столько книг вместе и не представлял себе, как у одного человека может быть такая библиотека.

— Дом этот целиком принадлежал моему отцу, — продолжала калбатони Мариам, — но я предпочла жить в этой комнате, чтобы книги были под рукой.

Еще она рассказала, что раньше преподавала классические языки в женской гимназии, а потом устроилась учительницей французского в школе... «Сейчас получаю пенсию и живу как все». Под кокед в ее счастливую улыбку вкралась грусть, и с сожалением она сказала:

— Трудно, когда никто не приходит... Да и кто придет в эту пыль и темноту, когда существуют чистые и светлые залы...

Дольше я не задерживался, распрощался и ушел. Хозяйка дома проводила меня и вежливо пригласила зайти, когда будет время:

— Если понадобятся книги, тем более не стесняйтесь, — добавила она.

11.

Я пошел домой. Теперь мне стало понятнее, почему Зизи без оглядки бежала из этой обстановки, бежала, даже адреса не оставив. Она не выдержала бы среди старухиных книг, воспоминаний, среди осколков чужого прошлого. Но куда она ушла и как рискнула уйти? Меня восхищала, но в то же время пугала в Зизи ее смелость и способность моментально осваиваться в незнакомой обстановке. И все-таки куда она ушла? Наверное туда, где обстановка подходила ей больше или где она свободнее в обстановку вписывалась. Но, как я уже сказал, поведение Зизи меня пугало и я не находил ему оправдания. Не потому, что был устроен по-другому и поступил бы иначе, чем Зизи, нет, совсем нет. Зизи быстро привыкала к удобной ситуации, разбиралась в ней и могла принимать самостоятельные решения. Все это она совершала не из хитрости, а непосредственно и искренне. Зизи была жертвой своей искренности, которая то делала ее капризной, то наполняла чувством превосходства. Заблуждаясь, она видела будущее в розовом свете.

Вернувшись домой, я рассказал отцу, как обстоят

дела. Отец задумался и, почесав в затылке, сказал: «Завтра же посылаю письмо ее матери». Сказал и сразу, ни минуты не медля, сел писать.

Зизи знала мой адрес, и я ждал, что не сегодня-завтра она зайдет, но осень пролетела, а она так и не появилась. Да и письма от учительницы Маро мы не получили: она, как видно, знала, где ее дочь. В конце концов не бросила же она дочку на произвол судьбы? И Зизи не смогла бы прожить без матери, ведь та снабжала ее и деньгами, и продуктами.

Одним словом, Зизи я из виду потерял.

Да, я знал, что Зизи жива-здорова и что она в Тбилиси. И все же мне было странно, когда время от времени до меня долетали вести о ней; часто — совершенно неожиданными путями. Я не видел ее, но мне то и дело слышался ее голос. Я физически ощущал, что Зизи в Тбилиси. Где? Где — я точно не знал. Может, в Дидубе или в Нахаловке, в Солولاки или на Верэ, в Ортачала или на Авлабаре, или... Адреса я не знал, но знал, что она есть, существует, живет, а значит — поет, танцует, читает стихи...

Как-то раз мы, парни и девушки, стояли в институтском коридоре, смеялись и дурачились. Был среди нас и Дурмишхан Циლოსани, бывший мой одноклассник, а ныне — однокурсник. Вдруг он обратился ко мне:

— Озо, кстати, вчера я был в Солولاки у одного приятеля на вечеринке... Там я познакомился с твоей родственницей.

— С моей родственницей? У меня нет родственницы.

— Как она танцевала! Как пела! Всех с ума свела... Из нее выйдет интересная штучка!

Я неприязненно сжался, подумав: не про Зизи ли он говорит?

— Ты слышал, как она кричит по-тарзаньи? Прикрывает рот рукой и да-а-авай... Мы трижды за столом заставили ее этот номер повторить.

Все засмеялись и я тоже. Дуреха, зачем она кричала по-тарзаньи?

— Не ври, что Зизи тебе не родственница, — не унимался Дурмишхан.

— Да не родственница, честно говорю.

— Зачем темнишь? Она мне сама сказала, что вы родственники.

Я снова засмеялся.

— Бичо¹, разве ты с Зизи не тащил недавно корзину по улице? Держали с обеих сторон по ручке и ворковали. Прямо идиллия!

Все были настроены на шутливый лад — снова слышались смешки и хихиканье.

— По-тарзаньи кричала! — сам себя подзадоривал кто-то.

— Да! От Тарзана не отличишь.

Что мне оставалось — я смеялся тоже...

Время от времени я слышал снова:

— Озо, недавно я с твоей родственницей познакомился. Здорово она танцует и выламывается...

И снова:

— Озо, в эту субботу...

И снова:

— Озо...

Однажды я потерял терпение и заорал: «Да, родственница она мне, родственница! Знаю, кричит, как Тарзан!» Но это был минутный взрыв. Я сразу успокоился, со стороны взглянув на себя и на Зизи с юмором.

Однако мне было не до Зизи. Я варился в студенческом котле и едва справлялся с делами. Зизи была как пущенная пуля — назад не воротить.

Я ходил на лекции. Пропускал их лишь изредка, чтобы разговоров не было. Нельзя сказать, чтобы я изнемогал от жажды знаний, но мною двигали инерция и взятый разгон: раз поступил в институт, должен учиться. Посещение лекций ввело меня в рамки, приучило к порядку и обострило чувство времени. Труднее оказалось наладить дружбу с однокашниками. Некоторых сжигала жажда самоутверждения. А мне хотелось укрыться в своей скорлупе. Порой мне казалось, что они не умеют прислушиваться к другим, их просто-напросто не интересовало, о чем ты говоришь. Иногда говорить тебе вообще не давали. А если и давали, то лишь для того, чтобы потом высмеять, опровергнуть,

¹ Бичо — обращение, букв. — мальчик, парень.

снизить сказанное тобой... Лишь потом я понял, что это один из путей самоутверждения и завоевания дешевой популярности. Последствий этого я не осознавал до конца. Я лишь страдал, чувствуя, как этот стиль отношений рождает пренебрежение к чужим мечтам и принципам. Стиль этот вселял робость, убивал желание высказаться, поделиться, открыть душу...

Как-то отменили лекцию, и мы, десяток студентов, остались в аудитории. Идти было некуда, и мы болтали. Сначала я хотел пройтись по улице, но передумал, поскольку с нами осталась девушка, которая привлекла мое внимание с первого дня. То есть, не то чтобы привлекла внимание, а я как-то случайно выделил ее в суматохе первого студенческого дня. В то время все и вся были на виду — улыбки, смех, радость, восторг. Переполненные счастьем, мы тянулись друг к другу. Вели себя так, словно давно знакомы. Я встретил нескольких одноклассников и дальних знакомых — кого узнавал я, а кто меня. В этой неразберихе я издали увидел огромные глаза, и сердце у меня внезапно сжалось. Вот и все. Потом выяснилось, что мы учимся на одном факультете и на одном курсе.

Она была странная. Молчаливая, держалась особняком, никого к себе близко не подпускала и сама ни к кому не обращалась. Думаю, держалась она так не потому, что была надменной недотрогой, а из робости и застенчивости. Внешне она была невзрачной, с фигурой как у подростка (это, наверное, тоже сковывало ее), но глаза... Не знаю, как кого, а меня они зачаровали — эти большие затуманенные глаза.

Итак, именно из-за этих глаз я и остался в аудитории. Когда мы вдоволь наболтались, воцарилось тягостное молчание. Первым молчание нарушил я — мне вспомнились Илоевы дети. Вообще я часто вспоминаю деревню, Анано, Сабу, Иотама... и коней... Мне остро захотелось хоть слово сказать об удивительных Илсевах детях, которые в глухой деревне исполняли «Сказки Венского леса». Словно этим я стремился на расстоянии обнадежить, подбодрить их... Студенты как будто со вниманием слушали мой рассказ, я даже заметил в их глазах проблеск сочувствия, но вдруг Дурмишхан Цилосани как бы между прочим спросил:

— Бичо, а ты случайно не народник?

Неожиданно раздался такой взрыв хохота, что я растерялся и даже не понял, над чем они смеются, что их развеселило. Рассказ я, конечно, не продолжал, да и они не интересовались, что дальше, — шутки сыпались одна за другой. Они смеялись, смеялись, смеялись, кто-то вспомнил даже, что на экзамене писал тему «Творчество народников». Сначала и я смеялся, но потом разозлился. Меня все сильнее охватывали жалость и сочувствие к детям, которые стояли у дороги и с грустной улыбкой махали рукой вслед уезжавшим в Тбилиси односельчанам.

Настроение упало, и я сразу ушел, подумав: «А ну их всех, пропущу и две оставшиеся лекции». Когда я выходил из аудитории, Дурмишхан Циლოსани шепнул мне: «Что с тобой, бичо, шуток не понимаешь?» А потом, дружески похлопав меня по плечу и выйдя за мною в вестибюль, спросил: «Ты что же, чувство юмора в деревне оставил?» Я улыбнулся в ответ: «Ладно, ладно». Но когда он, довольный собой, пошел обратно, я вдруг вспыхнул: «Почему я должен уступать!» Я окликнул его. Он, не повернувшись, косо посмотрел на меня, и улыбка с его лица сошла.

— Я хочу, чтоб ты знал: цинизм — не юмор, а издевка — не шутка, — сказал я тоном дружеского наставления.

— Ва! — его глаза зло заблестели. — Сам дошел или где вычитал?

— Сам дошел или вычитал — не твоя забота. А что я сказал — запомни! — голос я слегка повысил.

— Ва!

— Что ты заладил, «ва» да «ва»!

— Ты не шутишь, совсем распустился в деревне, ва!

— А ты все тот же шут, каким был в школе!

Дурмишхан обалдело смотрел на меня, словно не мог решить, злиться ему или принять сказанное за шутку. Он оглядел меня с ног до головы, примерился. Я почувствовал, что отступить нельзя.

— Они такие же, как ты, иди, скажи им! Хотите, подожду вас, а нет — догоняйте в дороге!

Я не стал их ждать, и они, кажется, меня не пре-

следовали. До Верийского моста я шел извилистыми улочками, часто останавливался и оглядывался назад: я был готов к драке и отступать не собирался ни перед кем. Ни в детстве, ни потом я никогда не дрался, пальцем никого не тронул. Не знаю, смогу ли подраться, если до дела дойдет. Пожив в деревне, я чувствую мощь в руках и плечах, ощущаю себя сильнее, чем кажусь с виду. Во всяком случае, справиться со мной будет нелегко...

Кто-то позвал меня — голос был женский, незнакомый. Я оглянулся и увидел глаза — те, что остались в аудитории. Прекрасные глаза эти звались Ламарой. Я остановился, и запыхавшаяся Ламара подбежала ко мне: «Простите, с трудом вас догнала». Я подумал: «Уж не они ли послали за мной вдогонку эти глаза? Может, раскаялись и хотят помириться». Но по дороге выяснилось, что совесть никого не мучит, а Ламара ушла по собственной инициативе, решив, как и я, прогулять лекции.

Мы перешли через мост и двинулись по Верийскому подъему вверх.

— Знаете, я все слышала... Я как раз вышла в коридор и хорошо слышала, что вы говорили Дурмишхану... Дело в том, что в аудитории я тоже смеялась, но потом мне стало неловко... Я вас понимаю...

— Честно говоря, не уверен, что вы можете понять меня.

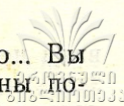
— Почему?

— Вряд ли вы поняли, что именно меня обидело.

Ламара на секунду приостановилась и взглянула на меня с такой улыбкой, словно подумала: «Ну и неотесанный же у меня спутник!» И правда, я ответил ей грубо, а в чем она виновата? Ведь эти прекрасные, с поволокой, глаза ничего плохого мне не сделали.

Она собралась что-то сказать, но я прервал ее.

— Простите, Ламара, наверное, лучше, чем гадать, я сам объясню, что меня обидело... Прямо скажу, в аудитории надсмеялись над моим чувством к детям. Они меня не выслушали и не знают, что это за дети, о которых я начал рассказывать. Я часто думаю о них, мне так их жаль... Сейчас я могу только одно: думать о них, болеть за них душой, — сделать что-то большее пока не в моих силах. А он мне говорит: «Не



народник ли ты?!» Что это — шутка? Не думаю... Вы не даёте мне права сострадать? Если не способны понять, то хоть молчите!

Ламара задумчиво шла рядом.

— Та, что уехала, ехать не должна была... А те, кто достоин был ехать, остались стоять у дороги и махать рукой отъезжающим.

— Что вы сказали? Не поняла...

— Ничего... — улыбнулся я.

Мы одолели Верийский подъём и с площади Руставели свернули влево, на проспект. Ламара рукой осторожно остановила меня.

— Озо, вы мне нравитесь! — сказала она так просто, словно здоровалась со старым знакомым.

По правде говоря, я не ожидал подобной откровенности и вдруг растерялся. Вот уж не думал, что так прямо, без обиняков, открыто и непосредственно можно сказать: «Вы мне нравитесь». У меня не хватало опыта, и я не знал, что говорить, как держаться. Но растерянность моя была очень приятной, в глубине души зажегся огонек, тепло которого разлилось по всему телу.

В такие минуты глупо сожалеть о недостатке опыта. Растеряться и покраснеть — что может быть лучше! Наверное, так и надо. Если не знаешь, что сказать и как себя вести, молчи и ничего не делай. Во всяком случае, на неопытность не сетуй. Опытность такого рода изнашивает и притупляет чувство, гасит первоизданное сияние... (Это я говорю почти сорок лет спустя).

Ламара заметила мою растерянность и отвела взгляд. Пройдя шагов пять, она обернулась: иду ли я следом? Я догнал её. Мое представление об этих глазах мгновенно рассеялось. Напрасно я приписывал ей робость.

— Озо, думайте что хотите, только не поймите меня плохо. Сказанное мною ни к чему вас не обязывает... Я говорю то, что чувствую. Думаю, в этом нет ничего дурного...

Разговор на «вы» явно мешал нам, лишая слова естественности и непосредственности, будто разговари-

вали не мы, а другие, старше нас. Я тут же поделился этой мыслью с Ламарой, и она без колебаний согласилась: да, да.

— Куда мы идем? — спросила она, когда мы подошли к Опере.

— Не знаю, — ответил я.

— Тебе не скучно бродить?

— Наоборот, я странствующий рыцарь!

— Разве есть еще рыцари?! К сожалению, перелись.

— Тогда я конь странствующего рыцаря!

— Конь? — засмеялась Ламара.

— Да, чему ты удивилась?!

— Может, ты Росинант?

— Нет, я белый конь — лурджа! — вырвалось у меня, и я улыбнулся.

Вдруг сердце мое сжалось, и меня охватила грусть: «Думаешь, я говорю? Нет, прислушайся хорошенько... Ты слышишь ржание...»

Я почему-то вспомнил Сабу, которому встретился ушедший от волков конь... Сейчас я как наяву увидел: Саба падает на колени, а старый конь медленно вытягивает шею и осторожно обнюхивает голову упавшего... Я как будто даже фыркатье услышал.

— Хорошо, что я на лекции не осталась, — сказала Ламара.

Вот так неожиданно сблизилась и подружилась мы с Ламарой. Что же касается Дурмишхана и тех, кто остался в аудитории, с ними я встретился завтра. Встретился как ни в чем не бывало! Они были слегка смущены, но спустя два дня жизнь вошла в привычное русло.

С Ламарой я виделся почти каждый день и уже не мог без нее. Если иногда мы не виделись, то я звонил: дома у них был телефон. Однажды я привел ее к себе домой и познакомил с отцом. Отец засуетился, накрыл стол, но я почувствовал, что в качестве будущей невестки она ему не понравилась. Проводив Ламару, я вернулся и ждал, что он хоть что-нибудь скажет. Но отец не проронил ни звука. Прибрав со стола, он подсел к радиоприемнику — послушать последние известия. Мне на месте не сиделось, я вышел на балкон, взглянул на Куру, вернулся обратно в комна-



ту, попробовал читать книгу, но не смог. Не в силах выдержать молчания, я обратился к отцу сам: «Как тебе моя невеста?» — словно бы в шутку спросил я. «Не торопись», — спокойно и серьезно ответил он, при этом одним ухом слушая репродуктор. «Но все же, скажи, какая она?» — не отставал я. «Видишь, как изменились времена, — сказал он с явным сожалением, — такие девушки были и в наше время, только не нравились они таким парням, как ты». «Почему?» — спросил я. «Бичо, если у женщины нет женских атрибутов, что это за женщина!» — он почесал затылок и улыбнулся. Понять, что он подразумевает под «женскими атрибутами», было нетрудно, но я не обиделся. Напротив, успокоился и повеселел. Говорить на эту тему мне было неловко, и я с деланным смешком сказал: «Видно, времена и впрямь изменились». «Сынок, как бы времена ни изменились, входя в дом, женщина должна внести сначала груди, а потом — задницу!» — Он по обыкновению развел руками и захохотал, потом встал и обнял меня. Внезапно перед глазами у меня возникли Кариаулевы дочери, и я почему-то подумал, что отец, хохоча, тоже видел перед собой девиц-дэвов..

А с Ламарой мы вскоре расстались, расстались навсегда, но не из-за «атрибутов». Случилось такое, после чего оставаться вместе было невозможно.

Ламара жила недалеко от площади Руставели, на маленькой улице в четырехэтажном доме. В то время даже проспекты почти не освещались. Неудивительно, что оказавшиеся за городскими кулисами маленькие улочки с наступлением вечера погружались во мрак. Ламарина улица была в центре и поэтому на ней горело несколько тусклых лампочек. Мы выбирали закоулки потемнее: здесь нам было уютнее.

Однажды холодной декабрьской ночью я провожал ее. Мы устроились в темноте, но Ламара, замерзнув, сказала: «Очень холодно, я пойду», — и до подъезда мы всю дорогу бежали. Я, конечно, отправился домой. Улица была пустынна. Не прошел я и двадцати шагов, как со стороны площади Руставели показался некто и двинулся мне навстречу. Он шел пошатываясь, зигзагами. «Здорово напился», — подумал я. Он дре-

мал на ходу, во всяком случае глаза у него были закрыты. Я думал было обойти его, двинулся вправо, но и он рванулся вправо. Я попробовал обойти слева — он преградил мне путь. Одним словом, мы столкнулись. При столкновении он испуганно вскрикнул и с неожиданной быстротой отскочил в сторону, в страхе прижавшись к стене. Это был маленький, тщедушный человек в большой меховой шапке.

— Чего тебе надо? — спросил он строго, отчетливо и внятно.

— Ничего, батано, я иду своей дорогой. — Его резкому окрику я противопоставил спокойный тон.

— Отвечай, чего тебе надо?

— Ничего не надо, батано! — в знак удивления я развел руками.

— Опустите руки, молокосос! — процедил он сквозь зубы.

Он выглядел не таким уж пьяным, как мне показалось сначала. «Стукну разок и конец недоразумению», — подумал я, но мог ли я ударить ровесника моего отца? К тому же он явно принял меня за другого и боится.

— Кто ты такой?!

— Вы меня не знаете, батано, — попробовал я успокоить его, в знак примирения сделал шаг вперед. — Я не тот, за кого вы меня принимаете...

— Ни с места! — заорал он.

Оказавшись в глупом положении, я решил: уберусь-ка отсюда. Но в темноте что-то шелкнуло, я взглянул на его руки, и мне показалось, будто блеснул револьвер. Я так испугался, что у меня руки и ноги отнялись.

— Не двигайся, не то на месте прикончу!

Я уже ничего не соображал, голос у меня пропал. Направленное на меня дуло в темноте дрогнуло.

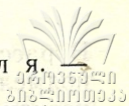
— Повернись! — приказал он.

Я не мог повернуться. Не из упрямства — я просто остолбенел.

— Повернись, ублюдок!

Мне с трудом удалось двинуть ногами, и я повернулся. Встал спиной.

— Теперь иди!



«Он пьяный, к тому же напуган, — подумал я. Возьмет и выстрелит».

— Шагай, шагай! — крикнул он и дал мне пинка под зад.


Я споткнулся, и грохот револьвера оглушил меня. Когда я пришел в себя, то оказалось, что бегу со всех ног. Не оглядываясь назад, я сломя голову сбежал по каменной лестнице сквера и бросился к Верийскому мосту. У моста я остановился, прислушался. Нигде не доносилось ни звука. Было, как видно, очень поздно. «Ух, спасся, — первое, что я подумал, — не стрелял ли он? В меня стрелял или в воздух? Неужели промазал в двух шагах?..» Постепенно я очухался и собрался идти домой. На середине моста я вновь остановился: дул холодный ветер, и я, подняв воротник пальто, уткнулся в него лицом. Мне хотелось плакать, я чувствовал себя растоптанным, оскорбленным. Кто был этот безумец? А я вел себя как трус, чуть на колени не встал. Испугался. Кого и чего испугался?

Я не мог справиться с собой, сердце разрывалось, нервы были на пределе, а мозг — в тумане. Почему? За что я так наказан, по какому праву меня унизили, зачем оскорбили? Лучше бы пуля настигла меня. Я бегом вернулся назад, взбежал по каменной лестнице и оказался на том месте, откуда недавно бежал, как напуганный заяц. Улица была пуста и безлюдна, было так тихо и спокойно, словно этот покой не нарушался веками.

Домой я вернулся опустошенный и разбитый. Отец лежал, но не спал. Ждал меня. «Где тебя носит ночами?» — сказал он и отвернулся к стене. Я подробно рассказал все, что со мной приключилось. Я ждал от отца сочувствия и понимания, ждал, что он меня успокоит, приведет в равновесие. «Ты еще хорошо отделался», — сказал он, даже не взглянув на меня. Я постоял перед его кроватью — не скажет ли он чего-нибудь еще. Но он заснул, не проронив больше ни слова.

Утром я встал рано, отец уже ушел. Так рано из дому он не уходил никогда.

Два дня я был сам не свой, никуда не выходил.



В расстроенных чувствах я начал прибираться в квартиру, подмел пол, перемыл скопившуюся за неделю грязную посуду. С отцом я демонстративно не разговаривал. Я ведь не требовал от него многого, мне нужно было лишь утешение. Я хотел почувствовать, что не одинок. Но он словно не замечал, что я обижен и дуюсь, даже ни разу не спросил: «Сынок, почему ты со мной не разговариваешь?» Он приходил с работы, обедал, ложился поспать и уходил снова. Теперь он, словно мне назло, стал возвращаться домой поздно ночью.

Через два дня я встретил Ламару, и снова это маленькое создание помогло мне. Я не поведал ей о своем унижении и постыдном бегстве, но она несла покой и надежду. Рядом с ней я всегда чувствовал себя хорошо, надежно... Я снова провожал ее по ночам до дому, мы искали и легко находили темное и уютное убежище, где время шло не по обычным часам, а гораздо быстрее.

Уходя от Ламары, я всегда чувствовал, что кто-то следит за мной. Вернее, в темноте я несколько раз заметил крадущуюся тень, и это навело меня на мысль о слежке. Не могу похвастаться, что упрямая эта тень не беспокоила и не пугала меня. Все же я старался не поддаваться страху, держался настороже, так как не исключал внезапной встречи... Вначале я думал, что следит за мной человек в меховой шапке, но вскоре убедился, что это другой. У него была иная комплекция — по сравнению с тем новый казался мне богатырем. Впрочем, не знаю: у страха глаза велики, тем более в темноте.

Время шло, тень ко мне не приближалась, наоборот, пряталась. Думала, наверное, что я ее не замечаю... Я был вконец озадачен: как видно, человек этот искал подходящего момента, но если у него какие-то счеты со мной, то лучшего времени, чтобы свести их, не подберешь. Была зима, на улице холодно, темно, прохожие попадались редко. Да у них, наверное, и своих забот хватало, куда им было до чужих.

Но человек привыкает ко всему, привык и я к тени. «Наверное, это моя судьба», — думал я. И если бы вдруг не увидел ее за деревом или за углом дома, то непременно стал бы искать. Впрочем, повторяю, у

страха глаза велики, и я преувеличиваю: игра в прятки длилась всего неделю. Хотя и это нелегко.

Приближался первый послевоенный Новый год. Еще четыре дня, и будем праздновать наступление 1946 года. Ламара вдруг объявила: «Вечером приходи к нам в гости», — и добавила, что будет несколько студентов, среди них Дурмишхан. «А в чем дело?» — поинтересовался я. «Ничего особенного, — ответила она. — И смотри, не подведи, обижусь». Я вспомнил, что у нее, кажется, день рождения: однажды она вскользь упомянула о нем. И как я забыл об этом? От некоторых просто невозможно утаить свой день рождения, у них на такие даты память крепкая. Я же, напротив, даты не запоминаю и все никак не удосужусь купить блокнот, чтобы записывать в него дни рождения своих знакомых и следить, не пропустил ли хоть один. Но как я мог забыть о Ламарином дне рождения?

Я от всей души хотел подарить ей что-нибудь запоминающееся. Что ни говори, а домой к Ламаре я шел впервые. Собственными силами я бы с этой задачей не справился, поэтому необходимо было обратиться за помощью к отцу. Но вот уже неделя, как я объявил ему бойкот за равнодушное отношение к моему состоянию.

Я ушел из института пораньше. Придя домой, первым делом принялся брить редкую еще бороду, потом помыл лицо и шею и принарядился. На этот раз отец вернулся с работы вовремя, и мы пообедали вместе. Теперь главное было — сказать о подарке (да так сказать, чтобы он понял: его недавнее бездушие еще не забыто). Я все никак не мог начать, но выхода не было, и я наконец решился. Сначала у него вырвалась непонятная фраза: «Понесешь, пожалеешь, не понесешь, пожалеешь...» Потом он задумался: «Если дать тебе денег, что ты сейчас купишь?.. Можно цветы, но время позднее, не достанешь. Да и не похож ты на парня, который цветы дарит... В Дессау, в реке Мульде тонул немецкий ребенок, и я его спас. Так вот, его мать отыскала меня в тот же вечер и вручила подарок на память», — сказал он и достал из посудного шкафа

Арчил Сулакаури. Белый конь.



041935340
20240101033

синюю фарфоровую чашку с блюдечком и поставил на стол: «Вот, у нас в доме нет вещи красивее и дороже этой. Если хочешь, отнеси в подарок». Поскольку не было у меня никого красивее и дороже Ламары, я согласился. Отец осторожно завернул подарок и отдал его мне. Провожая, он повертел меня из стороны в сторону, оглядел с ног до головы и выпроводил.

Все-таки необычный он человек, думал я по дороге, единственную дорогую вещь, и ту отдал... Мне даже стало жалко его. Разве я не замечал, не чувствовал, как он изменился — ходит озабоченный и задумчивый, словно что-то потерял и не может найти. Одним словом, это был уже не тот Сандро, каким я помнил его в первые дни после возвращения с войны — кипучая энергия, громоподобный смех!.. Я даже толком не знал, где он работает, куда ходит, с кем общается. Был ли он доволен службой? Может, он полюбил женщину, хочет жениться, а я мешаю? Теперь стремление к женщине уже не казалось мне неподобающим его возрасту. Ему сорок три года, он полон сил и энергии... Человек, наверное, обеспокоен тысячей проблем, у него свои заботы, а я, знай, думаю только о своем, как эгоистичный ребенок.

Дверь мне открыла улыбающаяся Ламара. С сияющими счастливыми глазами она подставила мне щеку для поцелуя. Я наклонился, поцеловал ее и вручил подарок. Она ввела меня в залу, освещенную большой хрустальной люстрой, где для гостей был накрыт массивный четырехугольный стол. «Я сейчас», — сказала Ламара и вышла из комнаты с моим подарком.

Оставшись один в огромной зале, я с сожалением подумал: надо же было явиться в такую рань. Ламара, конечно, «сейчас» не возвратилась, и я принялся разглядывать все вокруг. Попав в незнакомую и непривычную обстановку, я сам себя предупредил: теперь главное — ничему не удивляться. Стол был роскошный. Я напряг память, пытаюсь вспомнить, видел ли до войны такие кушанья, и вспомнить не смог; потому что на столе были яства, о которых во время войны забыли. Не стану описывать убранство стола, нет у меня такого желания. Война недавно кончилась, люди голодали, так что, возможно, я и преувеличивал.

В комнате было множество дорогих вещей: инкру-

стированный сервант красного дерева, витрина с такой же инкрустацией, низкий круглый столик красного дерева, софа, два кожаных кресла. На стенах были развешаны картины. Одна стена была целиком скрыта огромным полотном: это был «Девятый вал» Айвазовского. Во многих семьях видел я «Девятый вал» разных размеров, но такого большого — впервые. Своими масштабами картина эта подавляла все остальные. А в витрине было выставлено так много дорогих чашек, что я устыдился своего подарка, кажется, даже покраснел: наверное, лучше было подарить цветы.

Ламара вновь оказалась моей избавительницей, она вошла с сияющим лицом и пообещала: «Сейчас и остальные подойдут», — потом доверительным шепотом сообщила, что ее матери мой подарок понравился до безумия. Я не ожидал такой оценки и решил, что комплимент — дань вежливости. Потом выяснилось, что Ламарина мать — большая любительница и знаток фарфора. Моя чашка оказалась немецким фарфором то ли конца семнадцатого, то ли начала восемнадцатого века. Я искренне обрадовался — что может быть приятнее, когда нравится твой подарок.

Тем временем явились однокурсники под предводительством Дурмишхана. Они ввалились с шумом и смехом, заполонили, как саранча, все пространство, софу и кресла, потом откуда-то извлекли нарды и начали играть. «Хотите карты?» — спросила Ламара и вышла, но вернулась без карт — очевидно, забыла. Всего однокурсников я насчитал десять человек — шесть девушек и четыре парня, я был одиннадцатым. Дурмишхан спросил меня: «Давно пришел?» «Нет», — ответил я. «Впервые здесь?» «Впервые!». «Да-а!» — произнес он многозначительно, хлопнул меня по плечу и пошел к нардам.

В залу вошло низкорослое толстое существо. «Это моя мама», — сказала Ламара, и все сразу вскочили. Мы поздоровались с большим почтением. Вслед за Ламариной матерью, одна за другой, вошли три женщины: «Это мои тетки», — объявила Ламара. Сестры все были одного роста. Нет, низкорослыми их назвать

было нельзя. Есть люди низкого роста, есть — высоко-го, есть — среднего. А эти были похожи на карлиц.

— Все трое незамужние, — сообщил мне Дурмишхан.

— Который из вас Озо? — спросила Ламарина мать.

— Я, калбатано, — сделав шаг вперед, сказал я и наклонил голову.

— Очень хорошо! — с улыбкой сказала она.

Неожиданно я обнаружил, что у нее приятное лицо. Мне показалось, что у них с Ламарой похожие глаза.

— Я любительница фарфора и знаю почти все его секреты, — она склонила голову немного набок и с улыбкой продолжала: — Ваша чашка несомненно изготовлена в конце семнадцатого века в Германии. Моя сестра говорит, что это начало восемнадцатого века, но она ошибается.

— В задаче спрашивается: которая из сестер права? — шепотом произнес стоявший у меня за спиной Дурмишхан.

— «Голубые шпаги» — старейшая фирма в Европе, и, насколько мне известно, эта фирма существует и сегодня. Моя мечта — полный сервиз этой фирмы... Только старый... хотя бы девятнадцатого века.

— Калбатано, у нас была только одна чашка этой фирмы, — ответил я скороговоркой. — Не подумайте, что у нас шкафы ломаются от сервизов «Голубые шпаги».

— И ту вы не пожалели для Ламары!

— Для Ламары я ничего не пожалею, калбатано.

— Молодец! Молодец! Ты истинный грузин! — опять зашептал Дурмишхан.

— Мама, не отвлекай гостей!.. — вмешалась Ламара. — Давайте, друзья, сядем к столу!

Когда все калбатони выплыли из комнаты, Дурмишхан шепнул мне:

— Бичо, по-моему, ты им нужен для улучшения породы! — Я чуть было не прыснул: неисправимый экзепляр этот Дурмишхан.

Словно птица, готовая взлететь, дождалась взмаха руки... Как только нам разрешили, мы, не медля ни минуты, ринулись к столу. Еще не успели выбрать та-

маду, а угощения заметно поубавилось. Четыре женщины не успевали добавлять еду на стол. Тамадой был Дурмишхан. Он сам сказал: «Знаю, никто не возьмется быть тамадой, видно, уж суждено мне». Тосты он произносил коротенькие и силой заставлял нас пить. Правда, стаканы были небольшие, но опорожнять их нам приходилось до дна...

Ламара сидела рядом со мной, довольная и счастливая. Она проявляла нетерпение и говорила заранее: сейчас внесут это блюдо, а сейчас то. Сначала я пожадничал, но больше есть не мог.


«Правда, милые у меня тетки? — спрашивала Ламара. — Посмотри, посмотри, какие они хорошие...» И еще сообщила: они не замужем. Это я уже знал от Дурмишхана, да и какая разница, не мне же их замуж выдавать! Главное, я любил Ламару, и мне приятно было видеть ее радостной и довольной. Ламара еще несколько раз упомянула о любимых тетках, и не знаю, что случилось, привык я к ним что ли, но они уже казались мне милыми, заботливыми и добрыми, эти калбатони. Я даже представлял себе, как они балуют единственную племянницу.

Раздался звонок.

— Это папа, — провозгласила Ламара, живо вскочила и побежала к входной двери. Возвратившись, она сказала Дурмишхану: — Отец сейчас зайдет к нам. — Она опять уселась на прежнее свое место, рядом со мной. Мы все застыли в ожидании. Дурмишхан стоял на ногах, он с готовностью поднял полный стакан и терпеливо ждал появления Ламариного отца. Он задумался, как видно, оттачивая подходящий случаю тост.

Вошел Ламарин отец, и все встали. Я один не встал. Приподнялся, но заставить себя встать не смог: меня как громом поразило. Передо мной стоял тот человек... именно тот человек, который недавно, пьяный, столкнулся со мной на улице... Я узнал его сразу, как только он вошел! Лица его я точно не помнил — не разглядел в темноте. Но все же узнал. Как только он ступил ногой в комнату и мы вдохнули с ним одного воздуха, я узнал его! По интуиции узнал!

Арчил Сулакаури. Белый конь.



Не знаю, что подумали Ламара и все остальные, когда я не встал перед этим человеком. Я уже ничего не видел и не слышал. Откуда-то издали доносилось до меня бесконечное бормотание и жужжание. Постепенно я пришел в себя, но продолжал сидеть у стола отрешенный. Руки мои лежали на коленях, и я смотрел в пол, не в силах поднять голову. В сторону Ламариного отца я смотреть не хотел, да и не мог. «Что с тобой, тебе плохо?» — спросила встревоженным голосом Ламара. Я не ответил, сейчас думая только об одном: как бы убраться отсюда. Вино подействовало, и я боялся совершить оплошность...

Потом все вскочили и один за другим произнесли тосты за батони Варлама... Батони Варлам... Варлам... Варла-а-ам! Этот человек оказался батони Варламом... Жаль, что я до сих пор не знал... «Озо, тост за тобой, — это опять была Ламара... «Ребята, к этому тосту подойдет «Мравалжамизэр», — Дурмишхан попытался затянуть песню. Было ясно, что он хочет нарушить неестественное и неловкое молчание... «Озо, отец тебя ждет», — не отставая, шептала Ламара.

Сейчас, дорогая, раз нужно, то вот он я!

Я вскочил, отодвинул резко стул и направился прямо к батони Варламу. В тишине были слышны только мои шаги. Я на минуту поднял голову и увидел: из открытых дверей на меня смотрели, вернее — с умилением и надеждой взирали четыре сестры, которые видели во мне источник будущей радости и счастья. Я твердым шагом приблизился к батони Варламу, наклонился и заглянул ему в глаза. Снизу на меня посмотрели маленькие бесцветные глазки. Потом я шепнул ему на ухо: «Батони Варлам, я тот, кого вы недавно выругали на улице и в кого стреляли из пистолета». Он, как и тогда, хотел отскочить назад, но я, опередив, крепко схватил его за локоть и удержал.

— Не волнуйтесь, батони, все будет в порядке, — сказал я, таким же твердым шагом направился к выходу, снял с вешалки пальто и... кубарем скатился с лестницы.

Выйдя на улицу, я почувствовал холод и вспомнил, что пальто несу в руках. Я стал надевать пальто и вдруг рассмеялся, снова увидев знакомую тень. «Прощай! — мысленно обращался я к ней. — Отныне ты

меня здесь не увидишь. Я уступаю тебе и эту улицу, и дом, и тех, кто в нем живет». Кажется, тень меня не заметила... Что ж, это ведь человек, а не тень, в самом деле! Может, он задумался или его одолели сомнения, возможно, и ему несладко. А то зачем ночью, в этот холод, когда и собаку из дому не выгонишь, прятаться за деревьями и углами?

Я приблизился к нему в тот момент, когда он закурил папиросу. И что ж — это был второй удар. Хоть и не похожий на пережитый недавно, но все же удар!

Когда прислонившаяся спиной к дереву тень зажгла спичку, то она оказалась — моим отцом, самим Сандро Бодавели. Подняв голову и увидев меня, улыбающегося, перед собой, он воскликнул: «Озо, это ты?» «Да», — ответил я. «Откуда ты здесь взялся?» — спросил он с хорошо разыгранным удивлением, будто не знал, откуда я здесь взялся. «А тебе-то чего здесь надо, ты-то что стоишь?» — Как видно, он не был готов к этому вопросу. Долго думал, но так ничего ответить и не смог.

Домой мы возвращались как чужие. Он, пристыженный и растерянный, шагал сзади и все пытался оправдаться. «Здесь живет один мой фронтовой друг, его дома не оказалось, вот я и ждал, — явно выдумывал он, — у меня было срочное дело, неотложное... Но ничего, завтра пораньше зайду к нему, наверное сегодня он где-нибудь напился». Никакой фронтовой друг на этой улице не жил — версию он придумал по дороге. Я ведь заметил тень еще неделю назад, только не знал, что это мой отец.

Оказывается, он всю эту неделю сторожил меня в темных закоулках, чтобы, если я снова повстречаю того типа, расправиться с ним собственноручно. Хотя не исключено, что он искал с ним встречи один на один... Наверное, полагался на случай.

Знаю я вас, Бодавели, отлично знаю! Сандро Бодавели, разве ты не такой же, как Анано? Разве вы не одного роду-племени, не из одного гнезда? Разве Анано не отправилась за тридевять земель, чтобы наказать подлеца?

На воздухе крепость вина я почувствовал сильнее.

Отец тронул меня за руку и спросил: «Ну как вино, ничего?» Я ответил: «Твой фронтальной друг там не живет больше, уже неделя, как переехал... Не трать понапрасну время на его поиски, и Ламара больше не живет на этой улице — тоже переехала. Куда? Не знаю... Куда-то! Поэтому, — я остановился у театра Марджанишвили и оглянулся назад, — и я не буду туда ходить, все кончено! Знай, я расплатился со всеми долгами, твой сын ни перед кем в долгу не останется».

Наверное, отец понял меня и сразу согласился — хорошо, пусть так!

Наутро я встал в плохом настроении, недовольный собой. Мне показалось, что вчера я вел себя плохо. Хотя, как можно было поступить лучше, не знал. В те минуты я ничего не соображал, потерял самообладание. Хорошо еще, что не натворил дел похуже. Я хотел посоветоваться с отцом, но он уже ушел. Я вскипятил на керосинке воду и выпил чаю. В комнате было холодно почти как на дворе; мы встретили зиму неподготовленные, печки у нас не было, дровами мы не запаслись, а что толку от одной керосинки, хоть она и горела с утра до ночи в галерес.

Он назвал меня молокососом и ублюдком, дал пинка и выстрелил в меня. Я же в ответ на это шепнул ему на ухо: «Я именно тот, кого вы в ту ночь оскорбили и в кого стреляли». Потом я грубо схватил его за руку и дернул. Всего-навсего. Самую малость удовлетворил чувство мести, но могло ли это возместить унижение, оскорбление, душевную травму! Думаю, что такие вещи не проходят бесследно, они навсегда оставляют рубец в душе человека, тем более если человеку семнадцать лет. Мне пришлось видеть, как на улице расправлялись с карманным воришкой, который вытащил у кого-то из кармана пятерку или десятку. Его чуть не убили. Видел я и то, как при всех один унижил другого, пользуясь своим превосходством в силе. На остановке трамвая двинул по затылку, схватил за нос, сггернул челюсть, выругал матом и как ни в чем не бывало, с наглым видом поднялся в вагон. А того несчастного — с опущенными плечами, униженного, обруганного — успокаивали зеваки, очевидцы этой сцены. Они говорили, что ничего, мол, такого не случилось, успокойся, пу-
стяки.

Я видел это в детстве, но до сих пор помню отчаяние на лице человека, его обезумевшие, полные слез глаза. Вор должен быть наказан непременно, но когда унижают человеческое достоинство...

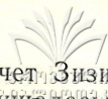
На занятия я больше не ходил, через два-три дня окончательно решил бросить институт и поступить в университет. Это решение зрело давно и наконец созрело.

Встречи с Ламарой я избегал, но не настолько, чтобы удрать из института. Если бы она изъявила желание поговорить со мной, я бы рассказал ей, что случилось и почему я вел себя неподобающе.

Вскоре меня навестил Дурмишхан, он был как будто обеспокоен тем, что я бесследно исчез. Он уверял меня, что пришел по своей воле и что Ламара его не послала. Я не особенно интересовался, пришел ли он по поручению Ламары или по собственной инициативе. Мне было все равно. Он посоветовал пойти извиниться — свали свое хулиганство на вино, может, она и простит. «С удовольствием, — сказал я, — какое счастье, если простят». Он немного удивился — не ожидал, как видно, столь смиренного согласия. Наскоро рассказав, что произошло у Ламары после моего ухода, он распрощался и ушел. Батони Варлам сначала опешил, потом с оружием порывался догнать меня, но женщины окружили и остановили его. Ламара расплакалась, и ее с трудом успокоили. Одним словом, я позорно испортил так хорошо начавшийся день рождения.

Ей-богу, ничего заранее я не замышлял. Целую неделю я никуда не выходил из дому, семь дней пролетели незаметно, но потом мне стало невмоготу — от безделья я готов был лезть на стену. Я было подумал: «Поеду в деревню, к Анано», — но к твердому решению прийти не смог. Вообще-то я планировал поехать в деревню летом. Недавно мы получили письмо от Анано: она писала, что чувствует себя хорошо.

Мне было так тяжело, что я даже сходил к калбатони Мариам — узнать, нет ли известий от Зизи и не выяснила ли она ее адрес. Калбатони Мариам встретила меня по обыкновению вежливо, пригласила войти,



посадила за стол и сама села напротив. Насчет Зизи она, конечно, ничего не знала и очень сокрушалась: «Был бы адрес — сегодня же навестила бы ее».

— Эта девочка себя погубит! — заключила калбатони Мариам.

Я ничего не сказал, потому что убежден был в обратном, верил, что Зизи не пропадет, добьется своего. Затем калбатони Мариам спросила, как продвигается моя учеба. Я попытался по возможности объяснить, почему бросил институт. Признался, что с самого начала ошибся — надо было сразу поступать в университет. Я думал, что она не одобрит мой поступок и обвинит меня в легкомыслии, но вышло наоборот.

— Многие ошибаются, — сказала она, — но большинство этого не понимает или если даже понимает, то не может свернуть с однажды выбранного пути, а в конце об этом жалеет. Человек должен уметь повернуть обратно, не пожалев о напрасно затраченном времени и энергии. Я говорю не о тех ротозеях, которые сами не знают, чего хотят, сегодня за одно дело хватаются, завтра — за другое.

Ее слова задели меня за живое. Говоря о тех, кто сворачивает с избранного пути, она имела в виду Зизи. И не понимала, что на самом деле ротозеем, который не знал, за что хвататься и к чему стремиться, был именно я.

Она принесла папиросы и пепельницу. Я устроился очень уютно и уходить даже не думал — мне здесь нравилось, хотя что именно нравилось, я понять не мог.

— Мой дорогой Озо, я пришла к одному важному решению и хочу с вами поделиться, — калбатони Мариам закурила папиросу. — Чем дальше, тем больше беспокоит меня судьба моих книг. Я совсем не хочу оказаться в положении скупого рыцаря. Иметь сокровище — и чтобы никто им не пользовался... Ужасно! Время и впрямь изменилось: кто сюда придет, когда в городе столько библиотек, да и условия для работы там лучше. Я никому не даю книги на дом, иначе от моей библиотеки ничего бы не осталось. Отдельно книга, какой бы ценной она ни была, это всего лишь книга, а вместе они — клад, который зовется библиотекой. Я решила: завещаю свое сокровище Тбилисскому университету, там его смогут использовать, там эти книги

нужнее, чем здесь. Здесь они лежат без дела в пыли и пропадают... Не возражайте! Я уверена: это правильное, разумное решение, только нужно все уладить. Дело в том, что необходимо составить перечень книг. Должен быть каталог, а то кто знает, что может случиться во время передачи библиотеки. Могут даже растащить книги, не исключено... Книга — это вещь особая. Представьте, украсть книгу не считается в обществе грехом... Поэтому мне нужен библиотекарь, хороший и опытный человек. Деньги я ему платить буду, деньги у меня есть, и мне их не жалко... Я могла попросить университет, но пока что, по разным причинам, избегаю огласки... А когда все будет готово, приведу нота-риуса, и дело с концом.

— Чем я могу помочь вам, калбатону?

— Как вам сказать... Вы молоды, вы студент, и трудно представить, чтобы вы не ходили в библиотеку... Может, знаете такого человека, которому можно довериться... Друг мой Озо, тут такие уникальные книги, которым цены нет. Вы меня понимаете... Здесь так легко согрешить.

— Калбатону Мариам, может быть, я смогу... только научите, а дальше я сам справлюсь.

— Нет, Озо, что вы! — всполошилась калбатони Мариам. — Нет, не думайте, что это легко. Здесь десять тысяч книг!

— Прошу вас, калбатону Мариам.

— Нет, мой хороший, поверьте, я не для этого сказала, ей-богу, я не вас имела в виду.

— И вы мне поверьте, калбатону Мариам. Если вы мне это доверите, я буду счастлив.

— Нет и еще раз нет!

— Я справлюсь... сейчас я все равно сижу без дела... От безделья я чуть не свихнулся, калбатону.

Я искренне предлагал свою помощь, но у меня ничего не выходило. Вначале я подумал: она мне не доверяет. Но если она просит, чтобы я привел человека, и даже поручила мне это, то почему бы не доверить мне лично? Постепенно я зажегся и всячески старался доказать ей, что для этого дела создан, что составление каталога — мечта моего детства!

— Так, значит, вы с детства мечтали составлять каталоги, верно? — засмеялась калбатони Мариам.

Мне стало стыдно, и я покраснел, хотя продолжал упрямо стоять на своем — пока не переубежу ее, не уйду. Я разволновался, словно ребенок перед магазином игрушек. Мною овладело лихорадочное нетерпение.

— Хотя, может, будет для вас польза, — сказала наконец калбатони Мариам, — научитесь разбираться в книгах. Контакт с книгами много значит, тем более для молодого человека. Это, возможно, станет для вас своего рода школой. Только не решайте в спешке... Подумайте... Я не тороплюсь. Через неделю, дней через десять приходите и скажите мне о своем решении.

— Хорошо, калбатано!

— Еще одно условие: я назначу вам стипендию.

— Что вы, калбатано!

— По-другому не выйдет, даже не думайте...

— Калбатано... — пытался я остановить ее.

— Довольно об этом. Еще вы должны знать заранее, что одного года вам не хватит. Подумайте, хорошенько подумайте.

— Да, калбатано... Только денег я не возьму.

— Уговор есть уговор! Иначе я не открою вам двери библиотеки!

12.

Через шесть дней из деревни пришла телеграмма от учительницы Маро: «Анано плохо, приезжайте». Отец разнервничался и раскричался: «Не время среди зимы туда ехать, я и так по горло в делах», — он рвал и метал. Потом постепенно успокоился и сказал: «Черт с ним, завтра поеду». «Мы должны ехать непременно сегодня, — сказал я. — Этой же ночью!» Я чувствовал, что Анано или очень плохо, или... возможно... Я не скрывал предчувствий. Отец горько задумался, повторяя: «Не может быть, не может быть...» Он опять разволновался, видно, он и впрямь очень был занят. «Мы не сможем поехать вместе», — сказал он и принялся писать записки. Потом наказал мне, куда их отнести и кому передать. Он спешил, но не расте-



рылся — привел все в порядок, разложил по местам. Засунув руки в карманы, он долго ходил взад-вперед по комнате. Потом остановился у шкафа, достал из кармана ключ, с грохотом открыл один из ящиков, выдвинул его и заглянул внутрь.

— Здесь деньги! — сказал он. — Если нужно будет, завтра же сообщу — приезжай и захвати их с собой. — Часть денег он положил в карман.

Ночью я почти не спал. В беспокойстве ходил из комнаты в комнату. Мучился, мысленно спасал Анано, возвращая ей здоровье. Поставил ее на ноги, отца отправил в город, а сам остался с ней до весны. На моих глазах растаял снег, зазеленели листья выстроившихся вдоль нашего забора тутовых деревьев — я пересчитал их: было опять одиннадцать. Анано сказала мне: «Я должна развести шелковичных червей, не стоять же деревьям напрасно». Потом я немного вздремнул, и мне приснился черный петух, восседавший на саманнике. Вытянув шею, он махал крыльями, стараясь закричать, и не мог.


На второй день отец прислал телеграмму — «приезжай!»

Я понял, что Анано больше нет.

Вечером я пришел на вокзал. Тот, кто ездил в ту пору кахетинским поездом, помнит, наверное, что купить билет не составляло труда: продавали сколько угодно. Если у тебя был билет, ты мог даже повиснуть на подножке или влезть на крышу вагона — одним словом, на станции бы не остался.

Неважно, как я ехал, главное, что утром я был уже в Телави и, запахнув пальто поглубже, сидел на линейке. Я знал, что не застану Анано в живых, но сердце надеялось на что-то, не хотело до конца поверить в несчастье! Я трясся по заснеженной дороге, и пока наша повозка не остановилась в центре деревни, лучик надежды все еще теплился в моем сердце. Ступив на землю и заглянув в глаза знакомым, я убедился окончательно: непоправимое случилось. Я словно ждал этого дня: Анано сама внушила мне, что так будет. Но то, что предсказывала Анано, произошло на удивление скоро и по причине, мне непонятной.

Арчил Сулакаури. Белый конь.



Первым ко мне подошел почтальон и спросил: «Приехал?» Я ответил: «Приехал». «Это я тебе сообщил, — сказал он и пожал мне руку в знак сочувствия. — Как хорошо эта благородная женщина смотрела за тобой... Но вот дала тоске извести себя... Э-эх, все бренно в этом мире!» — вздохнул он и отошел. Потом подошли и другие, те, что стояли около парикмахерской и вели разговоры, жалели Анано, сокрушенно качая головами.

Я шел по колено в снегу. Все, насколько видел глаз, было заснежено: деревья, дома, лесистые пригорки за домами. Я шел по снегу и думал — только бы не встретили меня причитаниями. Еще издали я увидел, что в нашем дворе хлопчут женщины: ворота были открыты.

Я вошел во двор. На балконе вдоль стены стояли мужчины. Дверь большой комнаты тоже была открыта. Я поднялся по лестнице — все взоры обратились на меня. Мне стали жать руку. «Молодчина, — сказал отец, — мы ждали тебя только завтра утром. Зайди взгляни на нее...» «Сейчас не могу», — сказал я. Мужчины расступились и дали мне возможность встать между ними, у стены. В это время со двора кто-то из женщин крикнул: «Парень, наверно, голодный, пришлите его сюда».

На второй день с утра шел снег. Он падал крупными хлопьями, величиной с ладонь. Фидо Квалиашвили сказал, что раз снег крупный, то скоро он перестанет, — но вдруг посыпал мелкий снежок, который ложился на землю и не таял. Я стоял рядом с отцом, прислонившись спиной к стене, там, где меня вчера поставили. Фидо Квалиашвили вел себя как близкий, отдавая распоряжения и руководя людьми...

А люди шли и шли, без конца. Передо мной прошла вся деревня. Я всех узнавал и в глубине души был рад видеть их снова, всем пожимал руку и выслушивал слова искреннего соболезнования. Пожав мне руку, они шли дальше, к открытым дверям комнаты, где лежала Анано. Вокруг нее сидели женщины в черном, время от времени кто-нибудь из них начинал плакать и причитать, потом опять воцарялась тишина. Все происходило без лишней суеты, шума и движения — каждый четко знал и выполнял свое дело.

Вот появились и Кариаули, все четверо вместе

вошли во двор, похожие на заснеженные горы (Кариаулева вдова пришла раньше и сидела в комнате). Отец вздрогнул, переступил с ноги на ногу и выпрямился. Сначала подошел и пожал нам руки Кариаули-отец, потом — мать. Когда дочери протянули руки моему отцу, у них было такое выражение лица, что мне показалось: они вот-вот рассмеются. Но они вовремя опустили головы и прошли в комнату. Меня они почему-то обошли стороной, руку пожать не захотели. Когда девицы-дэвы отошли, отец наклонился ко мне и по-деловому зашептал: «Хороним Анано на старом кладбище, рядом с родителями». Вчера он уже сказал мне это — и в более естественной обстановке. Зачем ему понадобилось повторять это сейчас? Неужели чтобы показать, как его волнует могила? Я же как раз в это время думал: как только приеду в Тбилиси, пойду к калбатони Мариам и скажу: «Каталог вашей библиотеки должен составить именно я, пусть даже для этого понадобится два года».

Вдруг я услышал голос Фидо Квэалиашвили и понял, что настало время выноса. Женщины вышли из комнаты, и вошли мы, мужчины. Прикрыли дверь, подняли гроб и три раза повернули его, потом трижды стукнули передней частью об дверь, распахнули ее и вынесли гроб во двор.

Всю дорогу шел снег.

Мы оставили позади наш дом, ворота, улицу и стали подыматься в сторону кладбища. Этот подъем я всегда считал дорогой к церкви и никогда не думал, что он едет на кладбище. Идти и держаться на снегу было трудно, ноги скользили, но мы все-таки медленно продвигались вперед, все выше и выше — к церковной ограде...

В Тбилиси я вернулся один. Отец остался: «Не могу все бросить, присмотрю за могилой и приеду потом».

...Первая ночь в деревне была удручающе тяжелой. Я еще в поезде, когда ехал из Тбилиси в Телави, не смог найти себе сидячего места. Пришлось ехать стоя, да и в деревне я ни разу не присел и не выспался. Ходил то по балкону, то из комнаты в комнату. Было морозно. Окна и дверь средней комнаты, где лежала

Анано, были открыты. Люди шли всю ночь, и я уже не понимал, кто входит, кто выходит. Они совещались с отцом и с Фидо Квалиашвили насчет завтрашних похорон. У меня было такое ощущение, что вся деревня вместе с нами не спала той ночью.

Почтить память Анано пришла тьма народу — оба балкона и все комнаты были переполнены. Несмотря на это, трапеза протекала тихо, все были сдержанны, да и вина сверх меры никто не выпил, и уже одно это говорило о том, как деревня любила и уважала Анано. Я не прилег ни на минуту, все сновал вверх-вниз по лестнице. И в комнатах набегался, следил, чтобы всего на столах было вдоволь. К вечеру тело у меня онемело и отяжелело... И голова кружилась...

Соседи предлагали нам ночлег — отдохните у нас, этой ночью тяжело вам здесь будет. Отец отказался, и нам действительно пришлось тяжело. Соседи все наскоро поубирали (остальное, мол, завтра) и ушли, а мы с отцом остались одни в осиротевшем доме, без Анано. Мы оба не снимали пальто, маялись, шагали от стены к стене, заложив руки в карманы. Отец несколько раз упомянул Фидо Квалиашвили — хороший он человек, стоящий. Меня тоже растрогал председатель колхоза: он верховодил, он распоряжался, он взвалил бремя тяжелых дней на свои плечи. Мне, правда, думалось, что он это обязан делать как председатель. Но все оказалось не совсем так.

Меня мучило ощущение, что похоронили не Анано, а кого-то другого. Порой мне слышались ее шаги, и я ждал, что дверь вот-вот откроется... Знал ведь, что слух обманывает, своими руками засыпал Анано землей, но, несмотря на это, напряженно ждал звука ее шагов, всматривался в дверь. Это беспочвенное ожидание удручало меня, выматывало, грызло.

Не понравилось мне, что почтальон так прямо сказал: «Дала тоске извести себя». Я-то думал, что история Анано была ее сердечной тайной, а тут вдруг первый встречный выпалил тайну мне в лицо. Как странно и как двусмысленно: дала тоске извести себя... От деревни разве что укроешь, деревня все знает. А ты так скрывалась — ничего никому не рассказывала

и отдала неповторимую свою жизнь на съедение тоске...

Отец метался и мучился, хотя и старался не показывать виду: что-то его тревожило, а что — не говорил. Зная отцовский характер, я был уверен, что долго он не выдержит, не сможет скрывать, скажет. Он начал было говорить: «Зачем мы себя убиваем, достаточно, что другие нас убивают...» Но мысль не закончил — в комнату вошли мои одноклассники. Их было двое — Белый Ника и Черный Ника, один светловолосый, другой — чернявый. Их и называли «черным» и «белым», чтобы легче различать. Они зашли озябшие, в снегу, со словами: «Ну и холодина, собаку на двор не выгонишь», — отряхнули снег у печки и затопали замерзшими ногами. Отец словно ждал их прихода, тотчас надел шапку и ушел. «Схожу к соседям и вернусь скоро», — бросил он уходя. К кому из соседей он пошел, не знаю, но только остался он там до утра.

Я от всей души обрадовался приходу ребят. Они были на похоронах и выразили позавчера соболезнование, но вот пришли и сегодня. Я не видел их больше полугода. Мне показалось, что они изменились, как бы возмужали, во всяком случае на школьников они уже не были похожи.

— Ты тоже изменился, — сказали они, — у тебя опять городской цвет лица... Как живешь, где учишься?

Под конец они вспомнили о Зизи: «Знаем, что она поступила в институт и хорошо учится. Наверное, вы с ней каждый день видите. Почему она не приехала?..» Они смотрели на меня со счастливой, чуть застенчивой улыбкой, и я вдруг вспомнил, что оба Ники были тайно и безответно влюблены в Зизи. Когда я сказал, что видел Зизи всего один раз, они не поверили. Правдой и неправдой убеждал я их в этом, приводил веские доводы, но старался я напрасно — они ушли с улыбкой недоверия, думая, что я обманываю их из добрых побуждений, не желая расстраивать рассказами о ежедневных встречах с Зизи. Только после того, как оба Ники ушли, я задумался и обиделся: и впрямь, почему она не приехала на похороны Анано, неужели

Арчил Сулакаури. Белый конь.

мать не сообщила ей? Не может быть, она, конечно, послала телеграмму.

Отец застал меня дремлющим на стуле, замерзшим, без сил. Я даже не заметил, как погасла печка. Мне вспомнилось, как шесть месяцев тому назад мы с Анано стояли ночью на балконе и она сказала: «До рассвета еще далеко». Отец вошел так же деловито, как и вышел, словно отсутствовал всего несколько минут. Но я уже не принимал близко к сердцу его неожиданное исчезновение. Наоборот, мне даже нравилась эта неугомонная и неиссякаемая энергия. Одно было ясно — в деревне он чувствовал себя лучше и свободнее, чем в Тбилиси. Там он казался мне скованным и подавленным.

— Видишь, что с нами Анано сделала, — едва войдя, сказал он сокрушенно. — Вышла бы замуж за Фидо Квалиашвили, а то убила себя невесть из-за кого.

— С какой стати, почему за Фидо Квалиашвили? — я встряхнулся и напрягся: это было для меня открытием.

— Почему? — отец вышел из комнаты и сразу вернулся, неся с собой несколько пачек треугольных конвертов. Он бросил их на стол. — Вот почему! Здесь больше сорока писем. Все с фронта... Понял? Вышла бы за него, и детей бы родила, и сама была бы жива и счастлива, и нам было бы спокойно. Нет, не захотела! И вот что вышло... Да и он старится без семьи.

— Может, она не хотела.

— А чего она хотела — этого?

— Так уж вышло...

— Ты тоже хорош!.. Полюбила бездомного.

Я думал, что знаю об Анано все, что она ничего от меня не скрывает. Но Фидо Квалиашвили... Видно, она не придавала этому значения, а то непременно рассказала бы, намекнула. То, что председатель проявлял к нам особое внимание, я замечал: он снабжал нас дровами и выделял долю из общего урожая. Однажды даже подарил мне башмаки... Я хорошо знал нрав Анано, не в ее правилах было принимать подарки, хотя... Может, это был не подарок... Фидо Квалиашвили...

— Что теперь будет с домом, с виноградником?

Кому на горе все это достанется? — Отец места себе не находил, и я догадывался, в чем причина волнения. Про себя я думал: не этот разговор раз и навсегда решит судьбу нашего дома, которому Анано давно вынесла приговор. Теперь я не сомневался, что сказанное ею сбудется. Отец мой был человеком сердечным, и, конечно, судьба нашего дома его беспокоила. Но сейчас он играл, стремясь внушить мне, что и там, откуда он только что пришел, он тоже думал лишь об этом.

В тот же день он отправил меня в Тбилиси, а сам, чтобы присмотреть за нашим домом и за могилой Анано, остался.

В поезде я вспомнил, что ни на панихиде, ни в день похорон, ни потом Илоевых детей я нигде не видел. Это меня удручило.

Сразу по приезде в Тбилиси ко мне заявился Дурмишхан и без обиняков объявил — из института тебя исключили. Честно говоря, я давно уже забросил институт, не сдал ни одного зачета и экзамена, но все же известие меня огорчило. На душе остался неприятный осадок. «Хоть бы документы успел забрать», — подумал я. Дурмишхан искренне сокрушался, искал выхода из создавшегося положения, предложил вариант восстановления, упомянул влиятельных лиц — мол, сходим к ним, — но при этом осторожно предупредил: «Знай, что тут не обошлось без Ламариного отца». Я не верил, но он убеждал, что это так — иначе меня по крайней мере вызвали бы и предупредили. «Если бы ты вовремя пошел и извинился, этого бы не случилось». Я поблагодарил Дурмишхана за сочувствие и заверил его, что и сам возвращаться в институт не собираюсь. Дурмишхан поразился, не поверил, прошелся взад-вперед по комнате и удивленно на меня воззрился.

— Как это так, человек с твоими способностями бросает институт?

— Да, я поступаю в университет.

— В университет? Хочешь стать учителем?

— Там видно будет.

— Сумасшедший!

— Да уж какой есть, — засмеялся я в ответ.

— Я думал, ты мне поможешь, подтолкнешь меня... Бичо, ты соображаешь, куда идешь?!

— Соображаю.

— Я на тебя по геодезии надеялся, а что мне теперь делать?

На другой день я забрал документы и напрямик отправился к калбатони Мариам. Я шел огорченный. Все-таки не ожидал, что мне так равнодушно вернут документы. Никто даже не спросил, что случилось, как это вышло. Выпроводили холодно, без единого слова. Кроме Дурмишхана, никто не огорчился. Но не беда, такой, как он, в жизни не пропадет, найдет кого-нибудь, кто его подтолкнет и поможет...

Калбатони Мариам открыла мне дверь своей библиотеки и впустила меня.

Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, не откройся эта дверь...

Правда, в душе еще жили обрывки первого впечатления, сложившегося под влиянием Зизи. Вначале мне пришлось очень трудно, хотя я быстро освоил библиотечное дело: вооружившись ручкой, чернилами, тетрадями, я с большим рвением взялся за работу. Бесконечно повторялось одно и то же: нужно было снять книгу с полки, обтереть тряпкой пыль, потом выписать фамилию автора, заглавие, время и место издания, имя издателя... Вернуть книгу на место... После этого снять вторую книгу, потом третью, четвертую, пятую и так без конца...

Я ходил регулярно, каждый день, как на работу. Так прилежно я даже институт не посещал. Но раз решил и обещал, то отказываться от работы нельзя. Хотя в душе назревало нечто похожее на протест. Теперь мне понятнее стали бунт и бегство Зизи. Когда через месяц я показал свою работу калбатони Мариам, она поразилась, как я столько успел. Я улыбнулся, думая, что она меня подзадоривает, но ошибся.

— Озо, — сказала калбатони Мариам, — не думайте, что я наняла вас чернорабочим. Если вы будете продолжать в том же духе, я вас к библиотеке не подпущу. Я предпочитаю, чтобы вы вынесли отсюда больше, чем оставите. Ну-ка, скажите, что вы прочли за этот месяц?

— Ничего. (Я добросовестно заполнял тетради, и



мне даже в голову не приходило взять и прочитать что-нибудь).

— Когда вы берете книгу в руки, когда читаете фамилию автора и заглавие, загляните в нее, пожалуйста, полистайте — вдруг она вас заинтересует. Если заинтересуетесь... Тогда... Да вы что, только обложки рассматриваете? Бог мой, слыханное ли дело — так обращаться с книгой! — вдруг возмутилась калбатони Мариам, потом ненадолго задумалась. — Пять лет сюда никто не входил, никто не раскрывал эти тома... У меня просто душа болит. Я не могу этого вынести. А вы, мой хороший, попали в библиотеку и ничего не читаете?

Я не нашелся, что ответить.

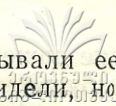
У окна стоял маленький четырехугольный столик, куда я сносил книги и работал с ними. Это было уютное место: когда я уставал, то мог смотреть на склоны Мтацминды или на Куру. Слева виднелись подвесной Мухранский мост и часть реки, стоило лишь чуть наклонить голову. Сначала я сидел за этим столом как осужденный, но потом, постепенно, бывать в библиотеке полюбил. Оказывается, книги могут увлечь и затянуть.

Отец думал, что я прилежно хожу в институт, и верил: раз он так хорошо учится, то выйдет из него хороший инженер. Я тайны своей не раскрывал, пока не сдал приемные экзамены в университет. Узнав истину, он развел руками: «Что ж, пусть будет по-твоему». Я замегил, что мой переход из института в университет ему не по душе. Очень он огорчился, но что поделаешь — пути назад не было. Он разочарованно смотрел на единственного сына, который не захотел получить техническое образование.

Поступив в университет, в библиотеку калбатони Мариам я ходить не перестал; не мог же я оставить начатое дело на полдороге. К сентябрю составил список из четырех тысяч книг. По моим предположениям это была треть библиотеки.

Познакомился я и с соседями калбатони Мариам. Вернее, они сами захотели со мной познакомиться. Их мучило любопытство: зачем я прихожу и что меня свя-

Арчил Сулакаури. Белый конь.



зывает со старухой? В насмешку они называли ее княжной. Не могу сказать, что они ее ненавидели, но и любить не любили. «Старее ее камня на берегу реки не сыщешь... Ей сто лет в обед, а порхает, как птичка...» Больше всего их волновала библиотека: «Мы по десять человек ютимся в норе, а у нее огромный зал пустует...» Библиотеку они считали пустой комнатой. Но калбатони Мариам была словно бы заключена в прочную звуконепроницаемую оболочку: до нее слухи не доходили! Человек необыкновенной памяти, она каждый вечер с блаженной улыбкой принималась вспоминать давно минувшие дни. Она точно помнила, кто и когда приходил, какую книгу просил и сколько времени тратил на чтение. Калбатони Мариам жила этим.

Ровно полтора года — восемнадцать месяцев понадобилось мне, чтобы составить опись всех книг калбатони Мариам. В конце июня сорок седьмого года я закончил каталог. Включая энциклопедии, библиотека насчитывала одиннадцать тысяч сто семьдесят шесть книг и журналов. Причем за это время я множество книг успел прочитать и кое-что выписал. Я мог закончить опись значительно раньше. Но много времени занимал университет. Порой неделя проходила так, что я заглянуть в библиотеку не успевал. Бесцельное шатание по улицам с товарищами, дни рождения, походы в кино и на стадион «Динамо»... Какой смысл без этого могла иметь жизнь!

Каким образом будет оформлена передача библиотеки университету, я не знал. Калбатони Мариам говорила, что оформит передачу в нотариальном порядке. Я понятия не имел, что нотариусы существуют и в наше время, считая их лишь неизменными персонажами французских романов. Калбатони Мариам с самого начала говорила мне: «Я не тороплюсь с завещанием, всегда успею», — и не торопилась... Эта сторона дела меня не касалась, вопросов я не задавал.

И был благодарен Зизи за то, что она познакомила меня с этой женщиной. А по Зизи я скучал. Мне многое нужно было ей сказать, но встретиться с ней я никак не мог. Где она была, что делала, чем жила? Хотя иногда — правда, реже, чем раньше, — до меня долетало: «Я познакомился с твоей родственницей...» С тем, что Зизи — моя родственница, я уже свыкся.



Меня мучило, что я оставил ее без внимания, но где было искать ее в большом городе? В середине сентября я зашел в театральный институт разузнать о Зизи: «Такой студентки у нас не было и нет», — ответили мне. Был я на премьере в Руставелевском театре, был в Марджанишвилиевском, шел на спектакль с надеждой, что сегодня встречу Зизи непременно. Тщетно.

Отец обвинял меня в бездушии: «Стыдно! В конце концов трудно ли найти девочку? Если возьмусь я, то завтра же приведу ее сюда!» Он взялся всерьез, но и это было напрасно.

— Хоть бы мать прислала ее адрес. Тогда бы мы нашли Зизи, а так что проку впустую по улицам бегать, — сказал я в сердцах.

— Думаешь, мать знает?..

— Как, и мать не знает?

— В том-то и дело, что она не знает и сходит с ума! — с горькой патетикой произнес отец, а потом усомнился: — Бичо, а может, этой девчонки и вовсе нет в городе?

Сведения о Зизи еще один-два раза долетали до меня, значит, она была в городе. Но постепенно замолкли и эти отголоски — она исчезла начисто. Но несмотря на это судьба Зизи не пугала меня, и теперь я верил, что она не пропадет. Слава богу, мне больше не говорили со скрытой иронией: «Я познакомился с твоей родственницей, она так пела, так плясала и еще по-тарзаньи кричала!» Зачем эта дуреха кричала по-тарзаньи?

Наверное, она образумилась, успокоилась, перестала бывать на сомнительных кутежах. После летней сессии я собирался в деревню и был уверен, что увижу там Зизи.

Меня беспокоило другое. Отец постепенно приучил меня к мысли, что наш дом будет не сегодня-завтра продан. Анано предсказала мне это заранее. Продажа дома, как я выяснил в разговорах с отцом, и вправду была неизбежна. Он сказал коротко и ясно: «Желающий иметь дом в деревне должен там жить». Это закон, и нарушить его никто не может. Раз так.

то ничего не поделаешь. Но меня раздражало, что отец был доволен этим. Я попросил его: «Может, проведем это лето в деревне и продадим потом?» Он засмеялся: «Не так-то легко будет этот дом продать, я не знаю в деревне человека, который купит дом Анано». «Что же делать?» — спросил я. «Нужно искать покупателя в другой деревне». Под конец у него вырвалось: «Дай бог его продать. Наконец поживем по-человечески!»

Летнюю сессию я закончил вовремя и приготовился к отъезду в деревню. Пошел к калбатони Мариам — хотел узнать, оформила ли она завещание и когда собирается передать библиотеку университету.

Скрывать не буду, мне, раз я вложил маленький вклад в это дело, хотелось присутствовать при акте передачи, и если нужно — помочь. Лучше меня никто не знал, где какая книга находится.

Выйдя на улицу, я встретил товарища, и тот пошел со мной. Лука жил в соседнем с нами дворе, мы с ним были почти одного возраста и до войны все детство проводили на берегу Куры. Во время войны он хлебнул много горя, но все выдержал и в прошлом году сдал экзамены в университет. Все, кто знал Луку, удивлялись и восхищались им. Особенно он нравился девушкам, хотя внешне не блистал, был среднего роста, с коротко подстриженными выцветшими волосами. Был он всегда задумчив и, казалось, знал больше, чем показывал. Удивительно он умел слушать — с большим интересом, не прерывая. Где в наше время найдешь человека, который искренне интересуется тем, о чем ты говоришь?

По дороге я рассказал ему, куда иду, и он даже не поверил, что в Тбилиси есть такая богатая библиотека. «Знай я раньше, помог бы тебе», — с сожалением покачал он головой, сокрушаясь, что упустил столь редкую возможность. Потом он заторопился, стал меня подгонять, словно ему не терпелось тут же увидеть и потрогать эти книги.

Мы быстро дошли до улицы Платона. На маленькой улочке перед домом калбатони Мариам суетилось подозрительно много народу. Подойдя ближе, мы увидели, что люди выносят со двора книги и куда-то тащат их в ведрах, тазах, стиральных баках, мешках, наволочках. Сначала я подумал: калбатони Мариам оформи-

ла завещание, вот университет и уносит завещанное. Но нет, так с сокровищем не обращаются. Люди с лихорадочно горящими глазами спешили — кто кого опередит. «Что случилось?» — спросил я старушку, которая однажды посвятила меня в сплетни и интриги двора.

— Княжна Мариам умерла, — сказала она с сожалением. — Вчера на нее наехал фаэтон, и она скончалась на месте. Ее пока не привезли, она в морге. Никого-то у нее, у бедняжки, не было.

Сердце у меня оборвалось, я побежал к калитке и заглянул во двор, где в огромную кучу были свалены книги. Они валялись прямо на земле, и люди без разбора хватили их, пихая в ведра, мешки, наволочки. Эти книги выносили не из галереи калбатони Мариам, а почему-то из комнаты соседей. Я мигом оказался возле этой комнаты и закричал: «Что вы делаете?!» Но никому до меня дела не было, все — от мала до велика — сновали взад-вперед и без конца выносили книги.

Я вошел в комнату, где в проломанной наскоро стене виднелась библиотека калбатони Мариам: полки сорваны, пол завален книгами, по которым безжалостно ступают чужие ноги. Я прошел в библиотеку — маляр уже снял дверь, ведущую в комнату калбатони Мариам, заложил ее кирпичами и штукатурил. На меня обратили внимание, только когда я во второй раз крикнул: «Что вы делаете?! Это преступление». — «Мы тебе покажем преступление», — трое усатых верзил вытолкали меня из комнаты и за шиворот выставили сначала со двора, а потом и с улицы.

— Объясни, что происходит?! — спросил ошеломленный Лука, который стал свидетелем моего позорного изгнания.

Я объяснил ему, насколько сам успел разобраться, что происходит. Калбатони Мариам вчера сбил фаэтон (не машина, не трамвай, не троллейбус, а именно фаэтон!), и она умерла. Как только об этом узнали соседи, жившие рядом с библиотекой, они проломали стену и туда, в библиотеку, вошли. А дверь, что вела из библиотеки в комнату калбатони Мариам, заложили кир-

пичом. Книги? Книги им мешали, и они от книг отделились. Семья у них была из девяти человек, среди них — двое стариков и пятеро детей. Им главное было войти в освободившуюся комнату, а теперь их оттуда никак не выставишь, пятерых детей на улицу не прогонят...

Книги?..

Не смогла калбатони Мариам расстаться с книгами, которые воплощали для нее ее прошлое. Это была ее жизнь. Что касалось меня, то свое обязательство я выполнил, дело до конца довел. Ей оставалось сделать лишь один шаг, формальный шаг... Может, она боялась, что, если оформить передачу книг, то соседи займут освободившуюся комнату? А что бы ей самой сломать стену, самой открыть дверь детям? Но... Это «но» — огромная высокая стена, в которой пробить дверь почти невозможно.

Передача книг университету не состоялась.

Книги...

— Озо, куда они уносят книги?

— Не знаю, наверное — домой... Думаешь, они не знают цену книге? Если даже не знают, то все равно — что даром досталось, то они и тащат. Кто их теперь остановит?..

— Может, хоть часть спасем?

— Зачем? Для чего?

— Может, мы тоже что-нибудь выберем...

— Нет, Лука, я больше к этим книгам не приронусь.

— Воля твоя.

— Бог с ними! Пусть уносят. Тазами, ведрами, мешками, как хотят — пусть уносят. Пусть! Пусть!

Книги...

Я уже не помню, как я снова оказался во дворе. Наверное, обезумел на миг, потерял рассудок. Я удерживал людей, вырывал у них книги из рук, кричал, надрывался: «Куда уносите? По какому праву? Что вы делаете, варвары? Ведь это сокровище!» Теперь все набросились на меня, окружили плотным кольцом, стали выкручивать руки, бить... В этой кутерьме я мельком увидел Луку (он сбегал по лестнице), но потом все опять смешалось, я вырвался и пытался бежать. Меня снова схватили, избили и, как мяч, выбросили со

двора прочь. И на улице продолжали угощать пинками. Когда я пришел в себя, мы с Лукой, взмокшие и запыленные, переводили дух на углу, где улица Платона выходит на площадь. Лука смотрел на меня с жалкой улыбкой. Ему тоже досталось как следует, но со мной они расправились на славу — вся рубашка была изорвана и свисала клочьями. Хотелось плакать, но плакать я не мог. Укрывшись за углом, я все смотрел в сторону крутой улицы, где сновали люди, без конца вынося и вынося книги... Я был не только свидетелем, но и посрамленной жертвой этого безумия.

Порой глаза у меня затуманивались и я ничего перед собою не видел — потом все прояснялось. Голова кружилась, и каждый мускул дрожал.

— Пошли, — сказал Лука.

— Сейчас, подожди немного.

— Ничего у нас не вышло, — виновато улыбнулся Лука.

Сейчас Лука раздражал меня. Почему в эту жарю и духоту он стоит так близко, зачем прилип ко мне — и так дышать нечем! Я совсем забыл, что рубашка моя совершенно порвана, и он, оказывается, прикрывал меня. Мы поспешили уйти, но напоследок я взглянул на улицу еще раз — среди книг, в беспорядке разбросанных на мостовой, стоял высокий худой старик, держа в руках раскрытый том и вперясь в него.

Мы бегом миновали несколько улочек и, свернув направо, спустились к Куре, решив дойти до дому берегом реки. Сняв одежду, мы вошли в реку — вода успокаивает растрепанную душу.


Мы смыли с себя пыль и пот, а я забросил свою рваную рубашку подальше в реку.

И правда, Кура как будто успокоила нас, но мы с Лукой от неловкости все еще не могли смотреть друг другу в глаза. Стоя в воде, мы упорно рассматривали противоположный берег, бетонную стену набережной.

— А старик был похож на Дон Кихота, — сказал Лука.

— На кого?

— Не помнишь, как Дон Кихот стоит и читает книгу?



Невольно взгляд мой убежал вправо, туда, где из окна кирпичного дома, стоящего близ моста прямо на берегу реки, посыпались в воду книги, бумага, сор, пыль... Я понял, что это окно, откуда почти полтора года я смотрел на склоны Мтацминды, на Куру, на Мухранский мост. Теперь окно было открыто, и в Куру летели остатки растерзанных книг, отдельные и никому уже не нужные листы. Вместе с пылью и сором они разлетались в воздухе, опускались, кружась, и потихоньку ложились на поверхность реки. Мы стояли по колено в воде и смотрели, как гладкая речная поверхность почти вся покрылась мокрыми листами. Прямо перед нами начиналась стремнина, и, достигнув ее, плавающие на поверхности листы исчезали в воде. Я не выдержал и заплакал.

На берегу Куры мы с Лукой пробыли до самого вечера.

13.

Мой отъезд в деревню отец отложил на неопределенное время. Догадываюсь, что он получил письмо — очень важное. В те дни он выглядел возбужденным, метался, места себе не находил. Потом вдруг сказал: «Кажется, нам повезло». Повезло нам, как оказалось впоследствии, с продажей дома. Я уже смирился с этим, ведь меня убедили, что дом должен быть продан непременно, другого выхода нет. И все же я напомнил свою просьбу — не продавать дом до осени. Но отец терять покупателя не хотел. Винить его было нельзя, он рассуждал правильно: «Если покупатели до осени подождут — хорошо, а если нет, то придется отдать сразу». Как только он сказал мне это, я понял, что дом уже продан и лета в деревне мне не провести. Я не ошибся. Отец уехал и через неделю вернулся радостный и чрезвычайно довольный.

Я не мог себе простить, что не поехал с ним. Тем более, что он сам предлагал. Не знаю, что за бес в меня вселился, но я решил, что присутствовать при продаже дома не смогу. Глупо! Очевидно, я просто поленился. А сейчас пожалел, да поздно.

Я никогда не был человеком, который всему на свете удивляется. Но сейчас у меня прямо глаза на

лоб полезли: отец сказал, что дом наш купили — Кариаули! Меня словно громом поразило. Я весь одеревенел, в ушах зазвенело, я подумал — может, послышалось?

— Да, наш дом купили Кариаули! — повторил отец.

Мне было совершенно безразлично, кто наш дом купит, Кариаули или кто другой. И все же это известие меня ужаснуло. Почему купили, зачем он им? По сравнению с их домом за каменной оградой наш был жалкой лачугой. Почему?.. Зачем?.. Напрасно было ломать голову. Сколько я ни думал — ответа не находил.

Чтобы разгадать эту тайну, мне не хватало ни ума, ни опыта, ни хитрости. Отец мой тоже ничего не знал. «Кажется, он купил его в приданое одной из дочек, — предположил он, потом добавил: — Тоже мне Ротшильд, дочери в приданое дает дом».

Мною овладела тяжелая и глухая тоска, больше я в комнате оставаться не мог и вышел на балкон. Там было тоже жарко. Стоял пасмурный июльский день: в воздухе ни ветерка, дышать нечем. Я готов был ко всему и с неизбежным смирился. Но когда дошло до дела, свыкнуться с мыслью, что дома Анано больше нет, не смог. Хоть мы с отцом и говорили о доме «наш», но разве был он нашим? Да будь он нашим, я не страдал бы так. Это был дом Анано, и вместе с Анано его не стало. Не думал я, что это случится, не хотел верить ни Анано, ни предчувствию своему. Заглушал это предчувствие радужными иллюзиями, глотал, как успокоительные таблетки, розовые мечты. «Все будет в порядке», — убеждал я себя. Вот тебе и порядок.

Стоя на балконе, я взглянул на реку и вспомнил, что после разгрома библиотеки вижу Куру впервые. Она текла спокойно, невозмутимо. Взгляд мой скользнул вверх и остановился на кирпичном здании у моста. Я легко нашел то окно, откуда почти полтора года смотрел на тбилисское небо, на склоны Мтацминды, на город, и откуда всего несколько дней назад нескончаемо падали истерзанные книги, а листки, кружась, опускались на зеленую поверхность реки. Сердце у ме-

ня сжалось. Не хотелось вспоминать о том злополучном дне, но справиться с собой я не мог. Что это было? Жуткий кошмар или жестокая явь, которая меня сломила? Разбит я был не только внутренне — на следующий день я почувствовал, что крепко избит.

Ну да черт со мной! Ушла из жизни калбатони Мариам, и исчезло величайшее сокровище — библиотека, которая создавалась, наверное, в течение целого века. По одной приходили книги из Парижа, Лондона, Берлина, Петербурга, Москвы... В этот поток вливались и грузинские издания. Канула в вечность история, редчайшие встречи, происходившие в библиотеке, все, с этими книгами связанное. Поистине нет границ нашей беспечности! Хотя мне ли судить? Разве не я сам слушал калбатони Мариам вполуха, когда вечерами она рассказывала мне удивительные истории о людях, приходивших к ней в библиотеку работать. Мне следовало слушать внимательно, запоминать, записывать... А я, глупец, думал, что завтра будет как прежде, что все в порядке, что это продлится вечно.

Войдя с балкона в дом, я почему-то вспомнил Иотамовых коней, загнанный в Алазани табун белых аргамаков с поднятыми головами и напряженно вытянутыми шеями. Укрывшуюся за холмами Нислаури... Вдруг меня остро туда потянуло, и я даже удивился, как это раньше не возникало желания махнуть в те края. Я даже смутно не представлял себе, где находится Нислаури.

Спустя два дня желание это окрепло — не давая покоя, оно наполняло меня нетерпением.

Осуществить это желание было не так уж трудно. Но я упорно докапывался до его истоков. Все началось с мыслей о нашей деревне, и это вполне понятно. Но тут вдруг всплыли Нислаури, холмы, Алазани, табун белых коней... Потом пространство постепенно раздвинулось до размеров целого края... Я терялся и разобраться не мог. Пришлось поверить свое душевное смятение Луке, и он, полушутя, сказал: «А что, дело простое. Поедем, успокоим твою душу, а там поглядим». Словом, он меня поддержал. А через день-другой сам уже рвался в дорогу.

Я думал, что Лука ходоком будет плохим, а он оказался сильным и выносливым, шел со мною на рав-



ных, взвалив на спину большой рюкзак. Говорили мы мало, я видел, что он весь во власти недавних впечатлений.

Из Телави мы свернули в сторону Шуамта, где вдалеке из розового тумана вырастал Кавкасиони. Глядя на горы, я делал вид, что этот пейзаж мне давно знаком и я интересуюсь лишь впечатлением Луки.

— С ума сойти! — сказал Лука. — Наверное, названия этому не даст никто.

— Зачем искать название? «Это» зовется Кавкасиони — и очень давно.

— Нет, не то. Как назвать чувство, которое охватывает тебя, когда ты видишь Кавкасиони впервые? Если не ошибаюсь, даже Толстой не смог найти названия этому чувству. Помнишь Оленина, когда он впервые видит Кавказ? Скажи-ка, что он испытывает: радость, восторг, волнение?.. Потрясение? Или нечто другое?

Я не мог помнить, что испытывал герой Толстого, так как «Казаков» тогда не читал, и потому промолчал. Не посмел признаться Луке, что не читал.

Ночь мы провели в Шуамта, три дня были в Икалто и Алаверди, потом вернулись обратно и раскинули лагерь на берегу Алазани, близ Греми. Так прошли еще два дня. Больше всего нам нравилось ночевать у реки. Вволю наплававшись, мы разводили на берегу огонь и кипятили чай, а то и рыбачили — Лука захватил с собой удочки. Потом подолгу сидели у огня: я рассказывал про нашу деревню, он молча слушал, впитывая мой рассказ всем существом.

Из Греми мы снова вернулись в Телави и оттуда пустились в сторону Цинандали. Нам не пришлось идти пешком и тащить багаж на себе: попадались то грузовик, то арба, а если на арбе не находилось места для нас, то мы закидывали туда наш багаж — как-никак облегчение. Вскоре мы попали на Бодбисхевский рынок и, истосковавшись по горячему, набросились на хинкали и шашлыки. Потом, захватив с собой еду — хлеб, сыр, огурцы, яблоки — мы купили шерстяные носки и тушинские шапки, которые нам на макушки ловко водрузил проныра шапочник, черный, как его

товар. «Я в Кахетии на любые головы шапки соорудил, — говорил он во всеуслышание, — но таких голов мне встречать не доводилось». Мы страшно смущались оттого, что оказались такими большеголовыми, наспех расплатились с ним и поспешили убраться.

Мы бродили по дорогам еще дней десять, и дни эти были замечательны. На исходе десятого дня мы переночевали на берегу Алазани под вязами и стали собираться в путь — хотели двинуться до восхода солнца. Вдруг мною овладело беспокойство, мне показалось, что я уже бывал в этих местах. И вязы, и пригорки словно напоминали о виденном. «Неужели мы сбились с дороги и вернулись к прежнему месту?» — думал я. Но Лука упрямо твердил: «Не знаю, как ты, но я здесь впервые».

Миновав вязы, я глянул с холма поверх пригорков на зеленый склон, где начинались лесистые горы. Я напряженно всматривался и вдруг вдалеке, на зеленом склоне, отчетливо увидел белого коня... Конь со сказочной скоростью неся вдоль леса. «Смотри-ка, конь!» — вскричал я.

— Где? — удивился Лука.

— Вон! — я указал рукой в сторону леса.

— Да где ты коня видишь?

— Там, наверху, у леса.

— Я не вижу ничего.

— Как не видишь? Да вон же... вон... — Теперь и я уже не видел коня: то ли он скрылся за пригорком, то ли поскакал в лес.

— Наверно, показалось, — высказал предположение Лука.

— Что значит показалось? — возмутился я. — Я его видел, как сейчас — тебя.

— Возможно.

— Ты думаешь, у меня галлюцинации?

— Нет... Просто я тоже хотел бы его увидеть.

Внезапное подозрение кольнуло сердце, и я глянул с холма на Алазани. Внизу, вдалеке виднелся утес, у подножия которого река сворачивала влево, меняя направление. Потом я оглядел вязы: они мне тоже показались знакомыми. Сорвавшись с места, я взбежал на другой пригорок. Оттуда стал смотреть на Алазани,



медленно обводя взглядом холмы, пригорки...
ный склон, лес...

— Озо, куда ты?! — услышал я голос Луки.

Всем телом, сердцем, легкими, чутьем я понял, что за маленькими пригорками и зелеными холмами спряталась Нислаури, деревня Сабы. Слезы радости и волнения выступили у меня на глазах, голова закружилась, и, чтобы не упасть, я присел на землю. Руки мои бессильно лежали на коленях...

Сначала мне почудилось улюлюканье и крики людей, потом конское ржание и топот копыт. Подобно водопаду, с шумом и грохотом неся табун белых коней к Алазани... Словно горная река, поднявшись и прорвав плотину, сметая и круша все, прокладывала себе путь вниз. На каждом шагу из засады выскакивали люди — крича и размахивая палками, они не давали коням свернуть в сторону... Люди вбегали и выбегали, выносили и уносили... Как одержимые, мешками, ведрами, тазами, наволочками тащили книги... Бурлящая поверхность реки была покрыта конскими головами и книжными страницами. Лошади в отчаянии вытягивали шеи и изо всех сил боролись с сильной волной, с коварным течением, с глубокими воронками... Эти воронки жадно поглощали растерзанные книги... Прежде чем уйти, я еще раз обернулся и посмотрел на узкую улочку, где в беспорядке были разбросаны по мостовой книги...

— Озо, — снова позвал меня Лука, который кряхтя тащил два больших рюкзака. — Чего улыбаешься, не видишь разве, еле тащу?!

Я отчетливо представил себе, как согнанный с зеленых холмов табун лошадей с шумом покатился к Алазани и как его насильно загнали в реку, но этому видению помешали другие картины, неожиданно возникшие в моем сознании. Мне невольно вспомнились обрывки тяжелых впечатлений того дня, когда разорили, разграбили и развеяли в прах библиотеку калбатони Мариам. Сердце у меня заныло: почему я не побывал на ее похоронах, не отдал последний долг. Мне хотелось раствориться и исчезнуть в этом пространстве, в далеком шуме реки, в утренней дымке, в холодной синеве, в шелесте вязов, в яркой зелени холмов,

чтобы хоть на миг слиться с тем, что окружало меня, одновременно доставляя радость и причиняя боль.

Лука с трудом доплелся до вершины холма, отбросил в сторону оба рюкзака и присел со мной рядом. «Чуток отдышусь, и пойдём», — сказал он. Я про себя уже решил изменить маршрут на сегодня. Надо бы до возвращения побывать в Нислаури и только потом отправиться в нашу деревню. Мне страшно хотелось показать ее Луке.

Лука знал о Нислаури по моим рассказам и с радостью согласился.

Мы долго не могли найти дорогу, ведущую в Нислаури, и решили подняться прямо вверх на гору. Старые подошвы скользили по росистой траве. Мы едва держались на ногах и, мокрые по колено, шаг за шагом одолевали подъем. Когда солнце поднялось, мы вышли на проселочную дорогу. Она была старая, вся заросшая травой, почти забытая. Но все-таки это была дорога, и идти стало легче.

Деревня выглядела не совсем заброшенной, на деревьях чирикали воробьи, слышался крик петуха. У входа в деревню навстречу нам с лаем бросилась овчарка. Сначала мы испугались было, даже вздрогнули, но Лука засмеялся и успокоил меня: «Она старая, беззубая». Собака от нас не отставала — озлившись, она хрипло лаяла и рычала. Несчастливая, у нее и впрямь ни одного зуба не было.

— Не проведешь нас, старая, — обратился к ней Лука с ласковой улыбкой.

До овчарки словно дошли его слова, она смолкла и ее взъерошенная шерсть улеглась. Потом, виновато склонив голову набок, она неуклюже изогнулась, вытянула лапы вперед, встряхнулась и, виляя хвостом, поплелась за нами. К нашему сожалению, деревня оказалась почти совсем покинутой. Брошенные хозяевами, поросшие травой дворы, покосившиеся заборы, стены в трещинах, осыпавшаяся черепица... Старая маленькая базилика готова была вот-вот рухнуть, из ее дверей за нами следила темнота... Такой я увидел Нислаури. Но природа все же брала свое — ветки яблонь и груш свешивались чуть не до земли под тяжестью плодов. Где-то на краю земли еще раз прокричал петух, а мы тем временем добрались до деревенского родника. У род-

ника стояли и вели беседу три старухи, одетые во все черное. Услыхав наши шаги, они повернулись и с любопытством стали смотреть на нас. Мы поздоровались со старушками, скинули с плеч рюкзаки и бросили их в тени развесистого ореха. Уставшие от тяжелого подъема и потные, мы подошли к сложенному из плоских кирпичей роднику. Старушки оставили в сторону свои мокрые кувшины и пропустили нас к воде; вода текла широкой струей, холодная и прозрачная. Утолив жажду, мы подставили головы под струю, освежились. Старушки поинтересовались: «Откуда вы?» «Из города», — ответил я. С этого началась наша беседа. Они сообщили, что в деревне осталось всего четыре семьи, да и те старики. «Все разъехались», — спокойно рассуждали старушки, как будто это в порядке вещей. «А что они здесь забыли?» — говорили старухи, словно намекая: «Кабы не старость, то и мы бы здесь не сидели». Потом одна из них спросила: «А вас что сюда привело?» «Мы путешествуем, знакомимся с краем», — ответил я. «Получше места не нашли?» — засмеялись они. «Для нас лучше этого места на свете нет», — сказал Лука. Старухи снова рассмеялись, очевидно, сочтя сказанное Лукой за шутку.

Вдруг мы увидели, что к нам приближается мужчина. Женщины засуетились, заспешили, торопливо схватили свои кувшины и разошлись кто куда. На мужчине был старый, выцветший военный китель, галифе и сапоги, шел он размеренным шагом, держался прямо. Приблизясь к нам, он вежливо поздоровался. Мы не думали, что он такой старый. Чисто выбритое лицо все оказалось в глубоких морщинах, редкие седые волосы были аккуратненько зачесаны набок. Он с отвращением посмотрел вслед старухам и крикнул им вдогонку: «Хватит вам каркать, старые вороны, ничего не выйдет, не надейтесь!» Насколько я помнил рассказ Анано, Гедеон Оманашили отсюда ушел и больше не возвращался. Но сейчас я готов был поспорить, что этот одетый в старый китель человек не кто иной, как Гедеон Оманашили. Именно таким я его себе и представлял, только одет он сейчас был иначе.

— Юноши, разрешите представиться — Геден
Оманашвили, абориген.

Этот голос и интонацию я словно слышал раньше, они показались мне настолько знакомыми, что я с трудом удержался, чтобы не заключить старика в объятия.

— Не желаете ли отдохнуть с дороги? Вы к тому же вымокли до нитки!

Лука вопросительно посмотрел на меня — неужто Оманашвили?

Я дал понять кивком — да, именно он. Долго упрашивать нас не пришлось — мы взвалили на плечи свои рюкзаки и последовали за радушным хозяином. «Я помогу вам», — предложил он и хотел было взять часть нашего багажа, но мы вежливо удержали его. Батони Геден шел впереди, временами оглядываясь и указывая нам дорогу. Следом за нами понуро плелась старая овчарка. Странная это была деревня: дома стояли только по одну сторону дороги, на склоне горы. Другая сторона выходила на Алазани.

Я шел за нашим проводником молча. Вот мы миновали дом Сабы, я сразу узнал его — три каменные ступеньки, дубовая дверь... Я не остановился, только обернулся, внимательно посмотрел на дом и как зачарованный продолжал идти за батони Геденом. Кто он, этот Оманашвили? Я ведь только понаслышке знал, что на свете есть такой человек — Геден Оманашвили... Видел же его впервые. Отчего я так разволновался, так обрадовался, отчего смотрю на него с такой нежностью?

Мы миновали почти всю деревню, прежде чем хозяин остановился у маленького домика с балконом. Он артистическим жестом указал на дом и произнес: «А вот и мои апартаменты!» Он ввел нас в чисто подметенный и ухоженный двор. В дом не пригласил, а усадил в тени под липой. Похоже, длинный стол и табуретки были работы хозяина. Он подробно расспросил нас, кто мы, откуда родом, куда идем? Мы все рассказали, и он остался доволен нами. Даже подбодрил и похвалил нас: «Молодцы, молодцы!» За разговором мы не заметили, как к забору подошли две знакомые старушки — они принесли хлеб, зелень и огурцы — Ага, пожаловать изволили? Без меня жить не



можете! — проговорил Гедеон. — Входите и все кладите на стол. А где же калбатони Магдалина?

— Магдана скоро придет. Сделает хинкали и придет.

— Хорошо, что вы еще не забыли святых законов гостеприимства.

Старухи разложили приношения на столе и ушли.

— И стариков своих предупредите, что у меня гости, — крикнул батони Гедеон им вслед и обратился к нам: — Юноши, нас в этой прекрасной деревне осталось всего четыре двора. Даже эти старухи, и те захотели в районцентр переселиться. Они и стариков своих уломали. Но я здесь на что? Я им такого наговорил, что они день своего рождения прокляли. Не выйдет, нет! Вы в гроб вместе со мной здесь сойдете! — угрозил он вслед старухам.

Батони Гедеон был похож на старого провинциального актера. Его жесты, мимика, голос, манера говорить были трагикомичны. Да, в нем трагизм и комизм шли от единого корня. В волнении, в радости, в откровенности или в злобе был он очень старомоден и вызывал добрую улыбку. Страшно было, что завтра всего этого уже не будет.

Он быстро накрыл на стол, вынес из дому тарелки и ножи с вилками, разломил руками хлеб, нарезал сыр и снял с огурцов кожуру. Тем временем явилась и третья старушка, она принесла нам в медной кастрюле исходящие паром хинкали. «Кушайте на здоровье, пока горячие», — сказала она и тотчас ушла.

— Магдалина! — окликнул ее батони Гедеон. — Ваши старики должны знать, что гость послан богом и что испокон веков гостей в Грузии встречали с большим почетом.

Магдана, которую батони Гедеон упрямо величал Магдалиной, обернулась и, снисходительно улыбнувшись, пожала плечами. Насколько я понял, старики с батони Гедеоном были не в ладах, и теперь он пытался помириться с ними через гостей, то есть через нас. Но те, как видно, твердо стояли на своем и позиций не сдавали.

Арчил Сулакаури. Белый конь.

— Не дадим остыть хинкали, — сказал батони Геден и, подавая нам пример, подхватил из кастрюли хинкали. — Просто замечательно, — заявил он, попробовав. Мы без слов последовали примеру хозяина. В это время звучно зевнула, тем самым напомнив о себе, собака.

— Собака есть собака, — говорил батони Геден. — С зубами или без зубов... Лает, и на том спасибо, мои дорогие. Если бы не Топала, я бы о вашем приходе и не узнал. Что, старина, — обратился он к собаке, — кости грызть уже не можешь, так хинкали захотелось?

Топала ловко поймала брошенный батони Геденом хинкали и в один миг его проглотила.

— Пока хватит с тебя, потом похлебку состряпаю.

Батони Геден вдруг вспомнил о чем-то, стремительно поднялся, зашел в дом и вскоре вернулся, неся маленький серебряный кувшинчик и серебряные, не больше наперстка, стаканчики.

— Друзья мои, я угощу вас эликсиром жизни. Этот эликсир — настойка из местных трав. Амброзия — на здешней водке. Напиток богов... Я этим жив, каждое утро пью по рюмочке натошак... О, это неистощимый источник бодрости и энергии.

Он налил в крохотные рюмочки густую, темно-желтую жидкость и подмигнул нам. Потом, благословив нас, выпил. Мы тоже благословили его и опорожнили свои рюмки... Боже, ну и ну! Отравы с таким запахом, столь горькой и крепкой, я отродясь в рот не брал. Чуть волосы не встали дыбом.

— Правда ведь нектар? — спросил батони Геден.

Я посмотрел на Луку и понял, что ему не лучше, чем мне, но он соглашался: «Да, батон, это настоящий нектар». Больше мы с Лукой к рюмкам не притрагивались.

Я не сказал нашему хозяину, что знаю здешние места. Не упоминал ни об Иотаме, ни о Сабе, ни о Тома Бикашвили. Разумеется, расскажи я о них, общаться нам стало бы легче. Знал я кое-что и о самом Гедене Оманашили, но говорить воздержался. Спросил лишь об одном:

— Батон Геден, утром я видел на склоне горы белого коня, он пронесся, как молния, и исчез... Мой



друг его разглядеть не успел. Теперь я думаю: уж не привиделось ли мне?

Батони Гедеон не сразу ответил на мой вопрос, но задумался и опять заговорил про свою амброзию:

— Этот эликсир готовится только в серебряной посуде, и пить его, разумеется, нужно из серебряного сосуда, а то желаемого эффекта не будет.


Он явно говорил одно, а думал о другом. Видимо, ему нужно было время для обдумывания. Вместо прямого ответа на мой вопрос он начал издалека. То, что он рассказал, я уже слышал от Анано, а Лука — от меня. Но несмотря на это мы с интересом слушали историю Иотамовых коней. Рассказал он и о том, как после случившегося надел железные башмаки, взял в руки железный посох и отправился искать управы на Барнабишвили.

— И я нашел на него управу! Правда, и сам пострадал. Но главное было одолеть этого негодяя и вандала... — батони Гедеон вновь предложил нам «эликсир жизни». Мы и на сей раз не смогли отказать ему и подставили свои серебряные наперстки. Хозяин патетически произнес:

— Дело в том, господа, что в погоне за знаниями и информацией все мы растеряли мудрость.

Батони Гедеон снова погрузился в себя.

— Думаю-думаю, а понять все никак не могу: если Барнабишвили заслуживал наказания, то за что наказали меня? А если был виновен я, то не должны были наказывать Барнабишвили. Именно в этом парадокс, друзья: наказали нас обоих — и меня, и его, меня, возможно, даже больше... Что я мог сделать, не удалось мне объяснить этому мизантропу-следователю, за что и с кем я боролся, убедить, что хотел я обуздать подлеца, который всю деревню разорил. «Уважаемый Варлам, — говорил я следователю, — Барнабишвили поступает с нами так-то и так-то...» А он, проныра и трус, отвечал: «Барнабишвили — мой друг, не мог он этого сделать». Так и стоял на своем следователь Варданашвили, этот карлик с сердцем труса. А впоследствии он и друга не пожалел. Видно, из-за собственных грехов был он трусливым и безжа-



лостным, от страха не знал жалости ни к своим, ни к чужим... Так окончилось правление Барнабишвили.

Я вскочил и в волнении зашагал вокруг стола. Лука подал мне знак — сядь, неудобно. Но я ничего перед собой не видел. Мне вспомнилась холодная темная ночь, напуганный Варлам с оружием в руках — трусливый карлик Варданашвили, как величал его батони Гедеон. У меня перед глазами встали четыре улыбающиеся толстушки — любительницы и знатоки фарфора — и сама Ламара с большими затуманенными глазами...

— Вы взволнованы, юноша?! — батони Гедеон тоже поднялся и обнял меня за плечи. — Это хорошо, ведь до сих пор ни у кого на свете даже жилка от моей истории не дрогнула. Нет, положительно, мы стали холодными и бессердечными, чужую боль ни во что не ставим! Спасибо, друг мой, за сочувствие и отзывчивость, я этого не забуду... А теперь я расскажу, что было дальше. Барнабишвили бог наказал — говорят, он сошел с ума... Да, потеряли мы мудрость, батона, потеряли!

— Барнабишвили жив? — удивился Лука.

— Я слышал, что жив: обезумевший, бегаёт под вязами и копает ямы. Сам-то я с ним не сталкивался, хотя раза два нарочно ходил под вязы. Видите, уже и легенду придумали об этом варваре.

Волнение мое сразу улеглось, я успокоился. Слово замкнулся круг, и я почувствовал внутреннее облегчение. Лука взглянул на меня, давая понять: если мы еще задержимся, придется остаться здесь до утра.

— Что касается белого коня, то о нем я ничего сказать не могу, хотя, если верить нашим старухам, они его видели. Поговаривают даже, что иногда по ночам слышат конское ржание. Но не знаю, можно ли им верить, они ведь спят рядом со своими стариками: а не другие ли звуки за ржание принимают? — со смехом сказал батони Гедеон. — Однако где же справедливость? Если есть поблизости конь, то кто как не я — старый кавалерист и солдат — должен был услышать его ржание!

— Наверно, мне показалось, батона Гедеон!

— Кстати, коль уж мы вспомнили старух... Видите, с кем мне приходится жить бок о бок? Я велел



передать их старикам: «У меня гости — прошу пожаловать». Так нет, ни один не пришел! Вечером я к ним наведуясь и пропесочу всех троих. Они отсюда шагу не ступят, пока я жив, а жить я собираюсь долго... Так вещает мой гороскоп.

Я поблагодарил батони Гедеона за добрый и радужный прием и дал слово, что приеду на будущий год и дней на десять останусь погостить.


— Раз так, давайте благословим ваш отъезд, — сказал батони Гедеон и взял в руку серебряный наперсток.

Мы выпили еще по наперстку этой ужасной жидкости, которая была достойна лишь олимпийских богов.

Вскинув на спину рюкзаки, мы двинулись в путь по единственной в Нислаури дороге. Батони Гедеон проводил нас, искренне сокрушаясь, что мы не остались ночевать в деревне. Овчарка тоже увязалась за нами, с трудом подняв с земли дряхлое туловище. Нислаурские старушки, опять собравшись у родника, вели беседу. Я думал, что при виде батони Гедеона они разойдутся, но ошибся. Они встретили нас с улыбкой и со словами сожаления: «Куда же вы так спешите, не успели прийти и уже обратно?» Откуда-то появились трое стариков, я поздоровался с ними, пожал им руки, спросил о жите-бытье... «Как же так, — сокрушались старики, — мы тоже здешние, и у нас дом есть, мы тоже люди, и гостей принять умеем». Но мы уже собрались в путь. Упрашивали стариков не провожать нас дальше, но напрасно: они шли и шли с нами. Одна старушка вынесла пестрые носки, другая подала нам корзинку: «Это вам фрукты, освежитесь в дороге...» Они хлопотали вокруг нас, уговаривали: «Не спешите, оставайтесь, отдохните до утра!» Так мы дошли до околицы и подошли к спуску. Тут все остановились, Гедеон Оманашили обнял нас обоих и сказал: «Ну, будьте молодцами», — потом громко, чтобы все слышали, объявил:

— Слово надо держать; будущим летом я вас жду! А сам в свою очередь обещаю, что встретим вас здесь мы все, ни шагу отсюда не ступим!

Я взглянул на стариков и понял, что должен об-



нять их на прощание, а то они чувствовали себя обиженными: почему мы гостили у одного лишь Оманашвили? Я их всех обнял по очереди, а они тепло прижимали меня к груди и дрожащими от старости руками гладили по плечам и по голове. Лука последовал моему примеру и, прощаясь, тоже обнял стариков.

Расставшись с нашими провожатыми, мы стали спускаться. Пройдя шагов пять, мы обернулись и увидели, как все пятеро (с овчаркой — шестеро) выстроились в ряд и смотрят нам вслед с доброй улыбкой и со слезами на глазах: «Приезжайте, мы вас ждать будем, никуда не уедем», — донеслось до нас сверху. Геден Оманашвили махал нам рукой: «Жду вас». Мне тоже хотелось крикнуть им хотя бы «до свидания», но я чувствовал, что стоит мне слово произнести, как я навзрыд расплачусь. Поэтому я молча бросил прощальный взгляд на нислаурских стариков. И зачем только я сдерживал себя! Ну и заплакал бы, раз хотелось. Ведь было ясно: сегодняшнее не повторится никогда.

Я посмотрел на Луку — он был хмур и задумчив.

Милый Лука, мой друг и брат, ты ведь хочешь все чувства и переживания назвать по имени! А как ты назовешь то, что мы с тобой испытываем сейчас?

Я еще раз оглядел все кругом — Алазанскую долину, вязы, холмы и пригорки... Там, меж этими холмами и пригорками, прячется Нислаури. Но... вдруг я увидел на зеленой лужайке белого коня! Белого коня с развевающейся гривой... На сей раз Луке я не сказал ничего, ибо был взволнован до ряби в глазах. Я не был уверен, действительно ли вижу коня, чудится ли мне это...

— Надо нам было остаться, — донесся до меня голос Луки. — Что изменилось бы, останься мы здесь до утра? Ничего. А то вскочили как на пожаре. Если твое присутствие доставляет кому-нибудь радость, то почему не воздать должное хорошим людям?

Лука недовольно ворчал, словно заставил его уйти я. Он не мог простить себе, что так заторопился.

Я лишь взглянул на Луку — и белый конь исчез из виду...

И правда, почему мы ушли, почему не остались хоть на одну ночь в Нислаури!.. Послушали бы людей,



узнали бы, что их тревожит... А может, от этого мы и бежали, этого и боялись?.. Может, мы и впрямь утратили мудрость?

Лишь на третий день пути мы достигли нашей деревни. Я так устал в дороге, что думал: ну, все, предел, дальше не смогу ни шагу ступить. С рюкзаком за плечами я еле-еле тащился и передвигал отяжелевшие ноги. Лука опережал меня на несколько шагов. Я с трудом поспевал за ним, удивляясь его силе и выносливости. Он ни разу словом не обмолвился, что устал. Иногда он поворачивался ко мне и заводил разговор то об Иотаме, то о Сабе, то о Гедеоне Оманашили. Поглощенный впечатлениями, он что-то для себя уточнял.

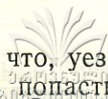
Как только мы приблизились к деревне, я почувствовал прилив энергии и прибавил шагу. Мы вошли в деревню не по проезжей дороге, а с краю, и в полдень, выйдя из лесу, увидели внизу нашу деревенскую церковь. Здесь была могила Анано.

Глядя сверху на кладбище, мы заметили стоящего перед одной из могил мужчину. Не знаю, заметил ли он нас или нет, но мужчина вдруг надел шапку и поспешно от могилы отошел. У ограды он вскочил на лошадь и поскакал вниз. Подойдя к могиле Анано, мы поняли, что незнакомец стоял именно здесь и смотрел на могилу Анано. Кто это был? Неужели Фидо Квалиашвили? Нет, Квалиашвили я узнал бы непременно. Квалиашвили так молодо не выглядел, да и такой курчавой шевелюры у него не было. «Кто же это мог быть?» — думал я, глядя на могилу.

Потом я всю жизнь старался не вспоминать об этом, хотя сердце одолевали сомнения...

На кладбище мы пробыли долго. Я думал, что могила Анано окажется запущенной, но она была ухожена, и ничего делать мне не пришлось. Могилы наших близких обладают притягательной силой, это я понял, еще стоя на могиле матери. Придешь на могилу — и уйти трудно: хочется сделать что-то, прибрать или просто стоять и смотреть на камень. Мне вспомнились сотни мелочей, и я рассказывал о них Луке, словно убеждая его, что Анано была не простая женщина — ясновидящая. Я чувствовал внутреннее, тихое, невыска-

Арчил Сулакаури. Белый конь.



занное удовлетворение. Только теперь я понял, что, уезжая из Тбилиси, подсознательно я стремился попасть именно сюда. Видно, поэтому я спешил и даже не остался ночевать у гостеприимных хозяев в Нислаури.

Мы немного закусили у могилы, потом я подвел Луку к дубу, откуда за каменной оградой был виден дом Кариаули. Мы посидели под дубом, даже вздремнули немного. Отдохнув, опять взвалили груз на плечи: и двинулись по спуску в деревню. Вечерело. По дороге нам никто не встретился — люди, очевидно, не возвратились еще с колхозных полей и виноградников. Войдя в деревню, мы кое-кого повстречали. Иных я узнал, но они меня — нет. Да и немудрено: я был обросший щетиной, обожженный солнцем, запыленный, с рюкзаком за спиной...

Мы свернули на нашу улицу, и сердце мое забилося сильнее. Помимо воли я очень разволновался и весь обмяк. Колени мои подкосились, словно не выдерживая тяжести тела и рюкзака.

— Вот ваш дом, — убежденно сказал Лука.

— Как ты узнал? — улыбнулся я.

— Насчитал одиннадцать тутовых деревьев.

Я тоже посчитал: их было ни больше, ни меньше — ровно одиннадцать. Сквозь деревья я украдкой взглянул на дом в уверенности, что Кариаули сидят и ужинают на балконе. Но ни на балконе, ни во дворе ни души не было. Это меня вконец расстроило. Остаться здесь я не мог. Как чужой, прошел мимо нашего дома и двора, взглянув на него только снаружи, как будто был это чужой дом и никто из наших никогда там не жил. Ни Анано, ни я... Как будто... как будто... как будто...

Когда мы вышли из деревни, я решил, что все позади. Но вдруг в глубине сердца, внутри, очень глубоко словно бы взорвалась маленькая мина, и теперь боль разлилась во всю ширь — охватила и тело, и мозг.

Что-то огромное и неповторимое кончилось.

Р. С. В ту зиму, в декабре сорок седьмого, произошла денежная реформа. Не могу сказать, что случилось это неожиданно и что никто ничего не знал. Наоборот, реформу опережали тысячи сплетен, слухов, домыслов. Некоторые ждали перемены с надеждой, дру-



26 03 57 24 0
1933

гие были в отчаянии, не зная, что делать с чемоданами, полными денег.

Нас этот вопрос волновал тоже: деньги, вырученные за дом, пропадали. Известие о реформе докатилось до нас поздно, и мы при всем желании потратить деньги не успели. Их, правда, было не так уж и много, но для нас — достаточно. В общем, мы потеряли и дом, и деньги.

Со мной произошло странное: неожиданно для себя я обрадовался обесцениванию денег и в душе даже торжествовал... Торжество это походило на чувство отщепенности за то, что мы продали дом Анано.

Отца мне было искренне жаль: он сначала метался, места себе не находил, а потом впал в глубокое уныние. Ни слова не говорил, стал задумчивым и замкнутым, а потом вдруг объявил мне: мы наш дом должны вернуть. «Но как?» — спросил я. «Поеду работать в деревню, а там...» На исходе зимы он и впрямь уехал. Его назначили директором МТС, и он писал оттуда: «Дел невпроворот, но я доволен, что приехал в деревню».

Через три месяца я узнал, что отец женился на одной из дочерей Кариаули.



●

Образ Родины я
Каплей выжал из вешней струи...
На груди у меня
Несозревшие звезды мерцали.
В мои жилы вошли
Кровью, Родина, реки твои,
И с кавказских вершин
Я увидел надмирные дали.

Не устал я, хотя
Все мои незакатные дни
Ты сжигала, светя,
В горне горнего горного края...
Не жалея же меня —
По глазам, словно плетью, хлестни
Солнцем нового дня,
Чтоб ослепла душа, прозревая!..

НА ВЕРШИНЕ

Замысел духа — телу неведом:
Здесь — на горé — умереть, как светило,
Чтобы, сожженный собственным светом,
Смог я поверить — здесь моя сила!..

Раннее утро сияет на склоне,
И умирать в этот час не годится...
Все же хотя бы капелькой крови
Дай мне на Землю, боже, пролиться!

ХУДОЖНИК

Рисую улыбку, рисую улыбку,
Улыбку, которая не продается...
Леплю я из глины и дом, и калитку,
И слово, и славу, и землю, и солнце.

Леплю я любовь и рисую надежду,
Я детство леплю и волшебные страны
Рисую, где правда и ложь — вперемешку:
Цари, бедняки, мудрецы и болваны.

Но ветру не нравится то, что люблю я
Лепить, рисовать — и безжалостным стал он:
Рыча, разрушает все то, что леплю я,
Все то, что рисую, — стирает с холста он.

Стою на ветру у черты незнакомых
Руин — у останков, обрывков, осколков,
И все же рисую черты незнакомых
Цветов, незнакомых дорог и проселков...

Весенней травой покрылись долины,
Свирепая вьюга за горы умчала,
И снова — сначала — леплю я из глины
Любовь, и надежду рисую — сначала,
И всю свою жизнь созидаю с нуля я,
Проходим, деревьям, ветрам повторяя:

«Художников уличных вы не щадите,
И скульпторов трудных времен — не жалеите,
Оставьте им трудный их путь по орбите,
Который к бессмертью ведет, а не к Лете,
Оставьте им смерть не на спуске — на взлете,
И ливнем с весеннего неба прольется
Улыбка художника на эшафоте —
Улыбка, которая не продается...»

МОНОЛОГ СОЛНЦА

Взгляните на меня,
Когда в зените



Я ворот на рубашке разорву —
И всех моих лучей цветные нити,
Как молнии, рванутся в синеву,
И рухнет боль моя на ваши крыши,
На ваши души

ливнями огня,
И — в страхе и восторге — еще выше
В тот миг превознесете вы меня.

Для вас я — истинно и неизменно,
А среди звезд — зовусь простой звездой,
И смена дней для нас — всего лишь смена
Земных надежд

космической тоской.
Но Солнцем нарекли меня Адама
Бессонные потомки

потому,
Что среди прочих звезд я первозданно
И неустанно побеждало тьму
Любовью к людям, пылкой и нетленной,
И я поверило в сиянье дня,
Что Человек я —

ведь во всей Вселенной
Лишь человек уверовал в меня!

И пусть я родился не на Земле,
Для вас, землян, я самое земное —
Глаз миллиарды ждут меня во мгле,
И всех, как братьев, приласкать должно я.

Я всем принадлежу,
Хоть я — одно...
Ах, сколько для меня возведено
Острогов,

И за место подо мною
Вы так сражаетесь друг с другом,

но
Вас примирить, как братьев, я должно
И успокоить некою земною.

Пусть ваши взоры тянутся ко мне —
Вам слаще оставаться на Земле,
Припав к родным прадедовским могилам,

И я теперь не скрою, что не зря
Всевышнему советовало я,
Чтоб человека создал он бескрылым.

Взгляните на меня,
Когда в зените
Я ворот на рубашке разорву —
И всех моих лучей цветные нити,
Как молнии, рванутся в синеву:
Своей любовью-ревностью — о боже! —
Само себя сжигаю
и собой же
Сжигаю ваши горести навек —
Чтобы любил меня и Землю больше,
Чем все другие звезды,
Человек!..

Перевел Валерий КРАСКО

●

Город тихих стрекоз
И оглушительно звонких ливней.
Город зеленых улиц
И голубых домов...

Горячие булыжины пляжа,
Белая кромка прибоя,
Брызги, чайки над катером —
Крыльез шуршащий шелк.

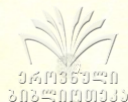
●

Ночью город во власти теней.
Мерцают сквозь синие листья
Радужным отсветом лампы уличных фонарей,
Гулко вторит асфальт
Шагу влюбленных.
Город спит.
Утомленное,
распростерлось у берега море.
Что-то сонно бормочет волна.

●

Город дышит натруженной глоткой,
Автострадами мчит вереницы машин.
Город очень устал,
Дождь омыл все бульвары и улочки.
В ритме мерных дождинок
В ночь,
как в сонную гавань,
Город вливается неспешно
Под шорохи шин.





ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Ты, как Луна, в ночном сияешь небе
И звезд хрустальных зажигаешь нить.
Моя любовь, мой белокрылый лебедь,
Как мне судьбу свою благодарить?

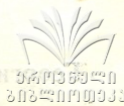
Щебечешь нежно птицею весенней,
Но я познал твою над миром власть:
Без твоего на то благословенья
Простой дождинке с неба не упасть.

Ты возвратила зрение слепому,
Едва лишь он к руке твоей приник,
И каждой встречной хижине и дому
Даруешь долголетия родник.

Но что за буря грянула над нами?
Судьба коварная послала нам беду...
И сердце залито кровавыми слезами —
Твоих следов нигде я не найду.

Развеял образ твой безумный ветер
И черным пеплом по свету разнес,
Но он в моей душе так чист и светел,
Как соль мужских невыплаканных слез.

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ



Мою любовь не могут погасить
Ни ветра свист, ни воды Алазани,
Ни зной ее не может иссушить,
Ни дождь залить холодными слезами.
Законам не подвластна, как стрела,
Как вольное бушующее море,
Как гордый взгляд могучего орла,
Парящего в заоблачном просторе.
Ей сила молнии разящая дана...
Лишь ты, любимая, лишь ты одна
Сильнее непогоды и огня,
Сильней всего на свете, может быть, —
Одним лишь взглядом одарив меня,
Сумела бурю сердца укротить.

Перевел с аварского Николай ЛЯТОШИНСКИЙ

РАССКАЗЫ

МАЭСТРО

МАЭСТРО Бета-
нэли, низкорослый
худощавый муж-

чина лет тридцати семи, сидел в автобусе у окна, прижимая к груди футляр от скрипки. Нахлобучив на брови зеленую фетровую шляпу, зарывшись носом в торчавший дыбом воротник черного касторового пальто, он, как улитка в раковину, стремился укрыться от посторонних взглядов и отгородиться от шума мирской суеты. Маэстро думал, и думы его были мрачнее осенних облаков.

...Каждый раз, когда его одолевали буйные страсти и он отправлялся к любовнице, перед уходом из дома он бывал не в меру возбужден. Старался остеречь, не скупился на лесть и ласку, виляя и заискивая перед женой, как глупый щенок.

«Опять повезло, дорогая!.. Сегодня вечером я приглашен на свадьбу... На поминки, крестины, день рождения...» — говорил он в таких случаях супруге своей Афродите, многозначительно подмигивая ей.

Одевшись и прихватив с собой скрипку, у самого порога маэстро поднимался на цыпочки и звучно целовал жену в пухлую щечку, чтоб окончательно развеять всякого рода подозрения.

Однако на следующий день, когда после бурно проведенной ночи маэстро возвращался домой, он чувствовал себя опустошенным. Неприятные ощущения овладевали его тонкой, артистической душой. Он испытывал контрастную смену эмоций, и настроение у блудного мужа от восторженно-мажорного переходило в кисло-минорное...

«Нет! Больше это не повторится!» — уверял он себя. Измена законной жене была похожа на воров-

ство. Безотчетный страх, как ящерица, ползал по узкой спине маэстро.

Ему мерещилось, будто кто-то невидимый зорко следит за ним, постоянно угрожая схватить его за шиворот, вытащить на свет божий и разоблачить перед всем честным народом как преступника, посягнувшего на священные устои высокой нравственности.

Так повторялось каждый раз. Но все сходило благополучно, дня через два маэстро обретал душевное равновесие, и вскоре его брменная плоть, поощряемая безнаказанностью, вновь начинала бунтовать. Неведомая сила вновь толкала его на преступление. Запретный плод, словно магнит, притягивал его. Притягивал и манил, как ночной огонек манит к себе бездумного мотылька. Потом опять угрызения совести, опять запоздалое раскаяние, приступы безотчетного страха, хандра и апатия... И опять маэстро молил бога, чтобы все сошло благополучно.

Так было и в тот день. Несмотря на то, что все было заранее продумано в деталях, подготовлены ответы на вопросы жены и, что самое главное, из-под подкладки шляпы (где он тайно хранил деньги) во внутренний карман пиджака своевременно была перемещена хилая пачка пятирублевок, маэстро все же испытывал невольное волнение. Для подобных случаев у него всегда была припасена небольшая сумма, которую он торжественно вручал жене как дань или выкуп за негласно нарушенную супружескую верность.

В отличие от других, сознательных женщин, супруга маэстро Афродита в своей грубой и неуклюжей плоти таила такое нежное чувство к денежным знакам, которое можно определить лишь одним словом—любовь! Порочное направление этого возвышенного чувства притупляло в ней женский инстинкт и усыпляло бдительность. К тому же Афродита, женщина гордая и самоуверенная, представить себе не могла, что ее тщедушная половина, составляющая третью часть общего объема и веса супружеской пары, осмелилась бы даже мысленно изменить ей.

Маэстро и Афродита женились по любви. Правда, красотой и изяществом Афродита не могла соперничать со своей мифической тезкой, но в свое время

она была довольно привлекательной девицей и, что самое главное, на целую голову была выше (в прямом смысле этого слова) своего безумно влюбленного жениха.

Именно высокий рост невесты, недостаток которого сам маэстро болезненно переживал, очаровал и покорил его. Он мысленно заглядывал в будущее, где видел себя окруженным крупногабаритным потомством.

— Моя ненаглядная джейран! — говорил он в минуты ласки своей супруге. — Ты должна мне подарить трех могучих, как дуб, сыновей и двух стройных, как тополь, дочерей!..

Это была его мечта, идея фикс!

Может быть, именно потому, что желание было столь велико, проказница судьба решила посмеяться над супругами, оставив их бесплодными.

А время неумолимо текло... Когда-то стройная и гибкая, Афродита безмерно раздобрела и спустя десять лет после свадьбы больше смахивала на дойную корову, чем на джейрана. Голос ее огрубел, а на щеках появилась волосяная поросль, напоминающая мушкетерские бакенбарды и придающая ей отдаленное сходство с великим поэтом.

Внешне супруги Бетанэли жили в мире и согласии, но бездетность образовала в их взаимоотношениях невидимую трещину. В эту трещину сердобольные родственники, близкие и соседи постоянно старались вбить клин, дабы расчленив связанную священными узами пару на две неравные части.

Пользуясь своим физическим превосходством, Афродита утверждала, что виновником всех бед был муж. Маэстро, как любой честолюбивый мужчина, не мог примириться с подобной трактовкой вопроса и, не смея прямо возражать супруге, чтобы доказать несостоятельность обвинения, за пределами семьи занимался сложными и рискованными экспериментами.

Навязчивая идея доказать свою невиновность побудила нравственно чистого и целомудренного маэстро, говоря словами строгих моралистов, погрязнуть в пучине разврата.

Впервые свою супружескую верность маэстро нарушил, связавшись с официанткой Розалитой. Это бы-

ла пышная, как сдобная булка, беспечная и ветреная хохотушка, которая работала в том же ресторане, где маэстро Бетанэли руководил небольшим оркестром с довольно обширным репертуаром.

Покорить сердце Розалиты для маэстро не составило особого труда, так как она была не ахти как разборчива. Что касается нравственности, она разделяла те прогрессивные взгляды, которые основаны на таких философских концепциях, как «На земле живем мы только раз!». «Живи пока живется!», «Не упускай момента получить хоть малое удовольствие» и т. п.


Вникнув в суть тайных замыслов маэстро, Розалита умело использовала их для того, чтобы крепко привязать наивного любовника к своей мини-юбке. В течение почти двух лет она вдохновляла его надеждами, водила за нос, уверяя, что ощущает признаки беременности, а тем временем опустошала карманы потерявшего от радости голову несчастного музыканта. Наконец маэстро наскучил ей со всеми своими претензиями, допросами и расспросами. Она променяла его на молодого чубатого повара и вместе с ним перебралась работать в другой ресторан.

Маэстро не пошел на прямой скандал, поборов в себе жажду кровавой мести, однако болезненно переживал измену.

Одно время он даже подумывал навсегда прекратить сомнительные опыты и примириться с судьбой. Но негаснущее желание стать отцом не давало ему покоя.

Случилось так, что именно в то время, когда наш герой размышлял о том, кем бы заменить «распутницу Розалиту», в ресторан приняли сбежавшую от пьяницы мужа и сварливой свекрови молоденькую судомойку Алису. Она сразу привлекла внимание страждущего музыканта.

Маэстро окружил Алису вниманием и теплой заботой, тем самым покорив ее разбитое сердце. Алиса была согласна на все, считая, что больше терять ей нечего, тем более, что опека столь солидного человека могла по крайней мере «скрасить» ее безвременную загубленную жизнь.



В одном из глухих переулков Нахаловки, в частном доме, по сходной цене, маэстро нанял маленькую комнатку в подвальном этаже, где поселил свою Дульцинею.

К сожалению, и на этот раз маэстро потерпел фиаско. Несмотря на это, оптимистический склад характера не позволял ему предаваться отчаянию.

...Случилось так, что молодой чубатый повар покинул Розалиту и скрылся, прихватив с собой кое-какие безделушки из благородного металла, приправленного драгоценными камнями. Обманутая и покинутая Розалита теперь бессовестно требовала от маэстро порвать с Алисой и восстановить «статус-кво». В противном случае она угрожала разоблачить его и разрушить его семью.

Как уже говорилось, маэстро был по природе высоко нравственным индивидуумом. Семья для него, как для каждого порядочного человека, была святая святых, и всякое возможное посягательство на эту святую вызывало в нем глубокое возмущение. К тому же, как ни парадоксально, сознание собственной вины усугубляло в нем чувство любви и уважения к супруге. По всему по этому даже простая угроза нарушить его семейный покой казалась ему кощунством.

* * *

С отяжелевшей от неприятных мыслей головой маэстро сошел с автобуса. По дороге свернул в ближайшую закусочную. Потребовал пару хинкали и запил утренний завтрак стопкой водки, чтобы привести в порядок запутанные мысли и расстроенные чувства. Кроме того, запах водки должен был подкрепить веру Афродиты в то, что он действительно возвращался с веселого застолья, где, по обыкновению, и музыкантов угощали вином.

Когда в дверях показались знакомые очертания дородной фигуры Афродиты, не глядя ей в глаза, маэстро с ходу вытянул шею, напрягся, как струна, и, оторвавшись каблуками от пола, чмокнул жеңу в покрытую пушком щечку, пустив ей в нос струю алкогольных испарений.



Афродита, как обычно, взяла у него скрипку, вытряхнула из пальто свою дражайшую половину и аккуратно повесила пальто на вешалку. Шляпу маэстро сам подал супруге. Потом потянулся с видом уставшего человека и зевнул, прикрыв рот ладонью.

— Ах, как все это утомительно! — бросил он жене, направляясь к постели. Ему действительно хотелось спать.

— Погоди, пока не ложишься! — остановила его Афродита. — Маэстро насторожился. — Может, перекусишь перед сном? — заботливо спросила она. У маэстро отлегло от сердца.

— Нет, Джейри, — (сокращенное от «Джейран»), — ничего не хочу, кроме отдыха! — ответил маэстро и, вынув из кармана пачку мелких казначейских билетов, передал их супруге.

— Это тебе, моя ненаглядная, для тебя старался, можешь распоряжаться ими по своему усмотрению! — с ухарской бравадой крупного растратчика добавил он.

Когда жена взяла у него деньги и поспешно начала пересчитывать, маэстро еще раз зевнул, рыгнул и уселся на постель.

— Теперь расскажи, мой милый, как провел время? — с привычным любопытством спросила жена. Она очень любила слушать его сочинения.

— Какое там время, развлекать других — это тяжелый труд, дорогая!.. Я бы даже сказал, адский труд! — вздохнул маэстро и нехотя начал выкладывать заранее придуманную легенду. Но постепенно сам увлекся своим сочинением и, чтоб сделать его более красочным и забавным, попутно обогащал свой рассказ разными курьезными деталями.

— Видимо, хозяева остались довольны твоей игрой? — заметила Афродита.

— Не говори, Джейри! Все были в восторге от нашей игры. Мне аккомпанировал Силибистро, ты же знаешь, какой он слухач-виртуоз. Там сидела группа ветеранов войны и труда, мы для них исполняли фрон-

товые песенки. Потом играли «Черные глаза», «Брызги шампанского», «Кариоку», «Кинто», «Рубль сорок». Вдруг к нам подошел какой-то пожилой, солидный мужчина с римским носом и львиной гривой на голове. Как выяснилось, это был известный музыкальный критик, профессор-музыковед, фамилию никак не могу припомнить... не то Саванэли, не то Баратэли, не то Мардалейшвили... в общем неважно! И вот этот самый профессор с чуть заметной иронией говорит: «Играете вы, безусловно, виртуозно, но не смогли бы вы исполнить что-нибудь классическое? За столом сидит молодежь, и было бы неплохо приобщить ее к серьезной музыке!..»

Его вопрос задел мое профессиональное самолюбие. «Нам все по плечу!» — с гордостью ответил я. В таком случае, говорит, сыграйте мне, пожалуйста, «Крейцерову сонату» Бетховена, которую великий композитор написал специально для скрипки и фортепиано.

Это был настоящий вызов. Сонату я помнил наизусть еще со студенческой скамьи, когда учился на третьем курсе консерватории, но я опасался за Силибистро, сможет ли он без подготовки осилить столь сложную партию фортепиано. Я неуверенно посмотрел на него, он подмигнул мне и кивнул головой, давай, мол, начинай!

«Принимаем ваш заказ!» — с достоинством заявил я профессору. Мгновенно воцарилась гробовая тишина. Я предварительно освежил смычок канифолью, потом взял скрипку в левую руку, приставил ее к подбородку и полоснул струны смычком. Пальцы Силибистро забегали по клавишам...


Тут наш маэстро так увлекся рассказом, что, подскочив с постели, начал изображать, как исполнял сложнейшую партию на своей скрипке.

— Когда я взял ми бемоль, неожиданно лопнула струна!

— Она так и осталась? — спросила Афродита.

— Не перебивай, ради бога! — обиделся маэстро. — Я ее потом заменил!

— Итак, значит, лопнула струна, положение казалось безвыходным, но в ту секунду в меня как будто вселился дух бессмертного Паганини и скрипка моя зазвучала, как творение великого Страдивари. Я доиграл



сонату на оставшихся струнах. Когда я опустил руки и склонил голову, гром аплодисментов чуть не оглушил меня. Минут пятнадцать продолжалась овация. Наконец, когда все утихло, профессор подошел ко мне, обнял, поцеловал в лоб и во всеуслышание торжественно произнес: «Благодарю, милейший маэстро, за доставленное удовольствие! Ничего подобного я в жизни не слышал и наверное не услышу! Ваше место не здесь, а на подмостках концертных залов величайших городов мира!»

— Я тоже такого мнения! — резко изменив тон, прервала его Афродита и подошла к столу, где лежала скрипка. — Человек, который на таком инструменте смог исполнить «Крейцерову сонату» Бетховена, действительно достоин всемирного признания! — С этими словами она откинула крышку футляра и с несвойственным ей проворством извлекла из него какой-то предмет, завернутый в желтое махровое полотенце.

От потрясения у маэстро перекошилось лицо, волосы стали дыбом, в горле пересохло.

Он усиленно заморгал, но ужасное видение не исчезало. Глаза его с полной ясностью видели, как Афродита развернула полотенце и в руках у нее оказалась огромная деревянная скалка, напоминающая палицу Геракла.

— На этом инструменте играл, подлец ты этакий!? — взревела разъяренная Афродита. — К любовнице шлялся, а меня тут сказками забавлял?! Недоносок несчастный, на кого ты меня променял, изверг поганый?!..

— Прости, Джейри! — не своим голосом пропищал маэстро.

Но ослепленная яростью Афродита не слышала его. Осыпая мужа неистовой бранью, она ринулась на него с палицей в руке.

Маэстро забежал вокруг стола, чтоб избежать смертельных ударов взбесившейся фурии. Сделав несколько удачных витков вокруг стола, он вырвался в прихожую. Там он успел напялить на голову шляпу и кинуться к двери. Пальцы не подчинялись ему, и когда он наконец открыл дверь, Афродита успела трижды опустить свою палицу — на его правое бедро, на

поясницу и на грешную голову, отчего у маэстро затуманились мозги и в глазах зарябило. Как пьяный, он сбежал по лестнице и вылетел на улицу.

Было начало последней декады декабря. С гордул холодный, пронизывающий ветер. Не чувствуя ничего, в одном жиденьком костюме, с непокрытой головой и помятой шляпой в руке, маэстро плелся по тротуару, прижимаясь к стенам домов, как беспризорная собачонка с поджатым от страха хвостом, ежеминутно ожидающая пинка от бессердечных прохожих. Ветер тормозил его поредевшие кудри, парусом надувал и трепал брюки, подгоняя его вперед, как потерявшую управление утлую ладью. В ушах звенели навязавшиеся слова из знаменитой оперной арии — «Мой час настал, и вот я умираю!..»

Неожиданно чья-то тяжелая рука опустилась на плечо маэстро. От этого прикосновения у него подкосились колени. «Это она!» — с ужасом подумал он, подразумевая свою супругу. Из последних сил напряг он всю свою скудную мускулатуру, выпрямился, резко повернулся, чтоб взглянуть беде прямо в лицо и при случае дать стрекача, но!..

— Аполлон, дорогой! — воскликнул маэстро, засияв от радости.

Перед ним, словно стог сена, громоздилась крупная фигура шурина.

— Ты в своем уме?! — удивился шурин. — Как ты мог выйти в такую стужу без пальто и с непокрытой головой! Что с тобой?! — сочувственно спросил он, почуяв что-то неладное.

— Я погиб! — пролепетал маэстро.

— Не стряслось ли чего-нибудь с Афродитой? — заволновался шурин.

— Н-нет... нет... я погиб, только я один, — лягая от холода и волнения зубами, произнес маэстро. — У-убей меня! Убей сейчас же, с-сию минуту! — воскликнул он, распахнув борт пиджака и подставляя свою куриную грудь Аполлону.

Ничего не понимая, Аполлон некоторое время смотрел на зятя. «Определенно свихнулся!» — подумал он. Потом насильно застегнул зятю пиджак и нахлобучил на голову шляпу.

— Я вижу, тут без вина никак не разобраться! —



философски заключил Аполлон. Остановил такси, за-
пихнул в него окоченевшего от холода маэстро и повез
к себе домой.

* * *

В теплой комнате за наспех накрытым столом маэстро оттаял и понемногу пришел в себя. Он чисто-сердечно признался шурину во всех прегрешениях и аргументированно объяснил те тайные мотивы, которые совратили его с пути истинного и толкнули на преступление.

Узнав подробности о трагическом финале любовных похождениях незадачливого донжуана, Аполлон так хохотал, что чуть не свалился со стула...

— Молодчина сестренка! — восторженно воскликнул он, отхохотавшись. — Это в ней заговорил воинственный дух рода Мамаладзе! — После чего он строго осудил пристыженного маэстро за наивность и непредусмотрительность.

— Как ты мог позволить женщине так одурачить себя? — с упреком заметил он. — Хоть бы раз взглянул, посмотрел бы, что у тебя лежит в этом проклятом футляре! Но ничего, не падай духом, все утрясется, все уладится, — утешил он зятя, подумав: «Что греха таить, такое с каждым мужчиной может приключиться, но ей-богу, из-за этого не стоит разрушать семью!»

Их задушевную беседу нарушил пронзительный трезвон, донесшийся из прихожей. Маэстро воспринял его как сигнал бедствия.

— Афродита! — шепотом произнес он и побледнел, как имеретинский сыр.

— Беги в спальню и залезай под кровать! — распорядился Аполлон. Пока он успел подняться со стула, маэстро исчез, будто его ветром сдуло.

Дверь открыла жена Аполлона — Медея, которая возилась на кухне. В комнату, словно тайфун, ворвалась Афродита. Она тяжело дышала, и вместе с воздухом из мощной ее груди вырывались бессвязные вопли.

— В чем дело? Что творится с тобой? — скорчив удивленную мину, спросил сестру Аполлон.

— Несчастье, дорогой брат! Несчастье обрушилось на мою голову! Погибла я, чтоб погибли и сгорели на костре враги твои и недоброжелатели! Чтоб не видеть им белого света! — как из автомата, выпалила Афродита и, бросившись в объятия брата, повисла у него на богатырской шее. Прильнув к его груди, она зарыдала, обливая потоком слез его новенький костюм из серой финской ткани.

Растроганный Аполлон обнял ее, погладил по головке и начал утешать. «Успокойся, моя девочка, успокойся, моя маленькая!» — с отеческой нежностью приговаривал он. Аполлон на три года был старше сестры и заменял ей безвременно погибших родителей.

Когда слезы иссякли и Афродита немножко успокоилась, Аполлон отстранил ее от себя и строго, деловому сказал:

— Ну хватит, теперь расскажи, что там у вас стряслось?

Невестка помогла Афродите снять пальто и шаль, когорую та впопыхах накинула на голову вместо шляпы. Брат усадил ее за стол и, налив ей бокал темного-красного вина, заставил выпить до дна.

— Это успокаивает лучше валерьянки! — добавил он.

— Нет, дорогой, меня уж больше ничего не успокоит, кроме смерти! Я не вижу выхода из этого положения!

— Ладно, ладно, не надо сгущать краски! — сказал Аполлон. — Нет выхода для покойника, лежащего в гробу, а для живого человека всегда найдется выход, только надо хорошо вникнуть в суть дела и обдумать что и как предпринять!

Ободренная словами брата, Афродита вытерла глаза и губы кружевным шелковым платочком, глубоко вздохнула и начала излагать свою трагическую повесть.

— Недели две тому назад кто-то подбросил нам письмо. На конверте была надпись: «Уважаемой Афродите (лично)». Я распечатала его, и меня как громом поразило! «Глубокоуважаемая Афродита! — писалось там. — Считаю своим человеческим и граждан-

ским долгом сообщить, что Ваш недостойный, подлый муж бессовестно изменяет Вам с какой-то безродной потаскухой, работающей в ресторане в качестве судомойки. Он отрывает от семьи деньги и тратит на нее. Каждую субботу или воскресенье он шляется к своей возлюбленной и для отвода глаз таскает с собой скрипку, уверяя Вас, что идет на «халтуру». Если хотите убедиться в достоверности моего сообщения, в ближайшую субботу, вечером, до того как Ваш муж отправится на свидание, выньте из футляра скрипку и вместо нее положите какой-нибудь другой предмет соответствующего веса. Когда муж вернется домой, сами убедитесь во всем!» А в конце была подпись — «Ваш доброжелатель».

— Вот подлец! — не вытерпел возмущенный Аполлон. — Таких вешать надо!

— Представить себе не можете, что стало со мной, когда я прочла это письмо!

— Еще бы, представляю! — сказала Медея, с презрением окинув взглядом своего супруга.

— А я тут при чем?! — ответил на ее взгляд Аполлон.

— Все вы одним миром мазаны! — язвительно заметила Медея.

— Не отвлекай нас от дела! — рявкнул на жену Аполлон. — Тоже мне, Отелло в юбке!

— Я долго колебалась, — продолжала Афродита, — на свете немало подлых, завистливых людей, может быть, все это грязная клевета? «Антоша не мог сделать этого, его просто хотят очернить в моих глазах», — утешала я себя!.. Кто мог подумать, что этот недоносок мой муж, этот пингвин мог изменить мне?! О боже! — И Афродита вновь залилась слезами. Вместе с ней плакала растроганная до глубины души Медея.

Когда они вдоволь наплакались, Афродита возвратилась к прерванному рассказу.

— Множество противоречивых мыслей вертелось у меня в голове, я не знала, что предпринять, ценой нечеловеческих усилий я сдерживала себя, чтоб не вспугнуть изменника, не дать ему возможности вырваться из западни, которую я готовила ему. Чувство



ревности и любопытство не давали мне покоя. В то же время какая-то внутренняя сила призывала меня к благоразумию... «Будь осторожна, Афродита! Это может плохо кончиться!» — шептал мне внутренний голос. Разве так легко в наше время потерять родного мужа?! — Тут Афродита вновь прослезилась, ибо велико было ее горе. — И вот наступил тот роковой день! В субботу вечером Антоша заявляет, что он приглашен на свадьбу и, возможно, останется там до утра. Когда он вышел в ванную, я быстро вынула из футляра скрипку, спрятала ее в платяной шкаф, убежала на кухню, схватила что попало под руку, завернула в махровое полотенце, чтоб не болталось, и положила в футляр вместо скрипки...

Я была уверена, что Антоша вскоре возвратится домой и потребует скрипку, при этом испытывала угрызения совести. Всю ночь напролет я не смыкала глаз, от мрачных мыслей раскалывалась голова. Я придумывала десятки способов мести и возмездия...

Утром он явился, бессовестный, как ни в чем не бывало!.. От него пахло водкой, мне стоило много усилий, чтоб сразу не прикончить его на месте, но любопытство держало меня в узде. Хотелось услышать, что он наплетет, как будет изворачиваться!.. Боже, как он виртуозно врал! Как вдохновенно! Я даже начала сомневаться, не лежит ли скрипка на месте и не померещилось ли мне все это... Десять лет я прожила бок о бок с этим человеком, всегда и во всем доверяла ему и никак не могла представить себе, что имею дело с таким лгуном, плутом и пройдохой! — Тут Афродита подробно пересказала рассказ маэстро и то, что за этим последовало.

— Как он вырвался из моих рук и убежал на улицу, не помню... Боже, прости меня, грешную! Он у меня такой слабенький и хрупкий! — всхлипывала Афродита. — Что я натворила, Аполлон?! Я убила его! Бедняга, наверно, где-нибудь в подъезде испустил дух... а может быть, добрые люди отвезли его в больницу! Ой, дура я, дура!.. Что я натворила! Вот уже целый час, как безумная, бегаю, заглядываю в подъезды, ищу его!.. Аполлон, помоги, дорогой, помоги найти Антошу, спаси нас!.. — причитала Афродита своим

бархатным баритоном, ей вторила колоратурой раз-
мякшая невестка...

— Теперь ты сознаешь, что совершила глупость?
— строго спросил сестру Аполлон.

— Сознаю... как не сознаю!

— Скажи мне, если бог даст и твой Антоша най-
дется живым, что ты намерена с ним делать?

— О-оо! Лишь бы нашелся, я все прощу, на цы-
почках буду ходить перед ним, только найди и воз-
врати мне моего Антошу!..

Афродита, в груди которой билось доброе и неж-
ное сердце, растаяла, как восковая свечка.

— Тогда поклянись, что не причинишь зла Анто-
ше и никогда не будешь напоминать ему о случив-
шемся!

— Клянусь прахом матери и отца! Только возвра-
ти мою жизнь, мое счастье, моего бедного, блудного
Антошу!

— Клятву не нарушишь? — спросил брат.

— Пусть потолок обрушится на мою голову, пусть
земля разверзнется под моими ногами!..

— Ладно, хватит, — прервал ее Аполлон, — все
понятно. Хорошо запомни сегодняшней день! — Он
подшел к письменному столу, сорвал листок с вися-
щего на стене календаря и подал его сестре.

— Двадцать первое декабря. Воскресенье! —
громко прочла Афродита, сложила листок вчетверо и
спрятала его в лифчик.

— Слушай меня внимательно! — сказал брат. —
Иди сейчас же домой, возьми те грешные деньги, что
принес тебе Антон, сходи на базар, купи хорошую ку-
рицу и все остальное, зайди в магазин и купи бутыл-
ку пять вина «Цинандали». Приготовь хороший обед
и жди моего прихода. Я же пойду искать твоего не-
счастливого мужа. Если, бог даст, найдется живым, от-
метим ваше примирение, нет — выпьем за упокой его
души!..

— Все будет сделано, только прошу, при встрече
не обращай с ним слишком грубо! Он и без того по-
лучил больше, чем следовало! — попросила Афроди-
та брата.

— Да, пожалуй, ему следовало дать хорошую взбучку, но...

— Нет, Аполлон, ради бога, не делай этого!

— Ладно, будь по-твоему, главное сейчас — найти его!..

Когда окрыленная надеждой Афродита, не теряя ни минуты, отправилась выполнять поручение брата, едва дышавший под кроватью маэстро проворно вылез оттуда и ринулся в столовую. Подбежав к дорогому шурина, он повис у него на шее, как олимпийская медаль.

* * *

Настенные часы уже давно пробили одиннадцать, когда знойный поцелуй Афродиты разбудил стонавшего во сне маэстро. Он медленно раскрыл глаза и, увидев на потолке знакомый голубой абажур, догадался, что находится дома в собственной постели. Вместо подушки у него под головой лежала пухлая, мягкая и теплая, как грелка, рука супруги. Запах французских духов «Шанель» приятно щекотал ему ноздри.

— Что с тобой, мамуня? — озабоченно спросила Афродита.

— Джейри, это ты, дорогая?! — простонал маэстро. — Ночью мне снился кошмарный сон, мне чудилось, будто я умираю... Рассказать? — спросил он приглушенным голосом и, испугавшись своих же слов, прикусил язык.

— Не надо, я уже знаю его содержание и прошу тебя больше никогда не видеть подобных снов!

«Значит, все это случилось наяву», — с ужасом подумал маэстро, в отяжелевшей голове которого все смешалось, как винегрет. Ему стало невероятно стыдно. Он уткнулся носом в грудь жены и начал икать.

— Не надо, не плачь, моя собачка, ведь это никогда не повторится!..

— Никогда!

— Антоша!..

— Что, дорогая?

— Этот год был для нас настоящим испытанием, не так ли?

— Да, испытанием!



— Он уже на исходе...

— На исходе!..

— Хочу, чтоб Новый год мы встретили хорошо.

— Я тоже!

— Может быть, судьба смилостивится и пошлет нам счастья?

— Может быть, Джейри! Все плохое пусть останется в уходящем году, все хорошее пусть прибудет с Новым!..

И вот наступила ночь на 31-е декабря. Истекали последние минуты уходящего года. Когда-то миллионы людей с радостью и восторгом встречали этот год на всех континентах планеты в ожидании неведомого счастья...

Сколько воздушных замков, построенных мечтой, было разрушено! Сколько радужных надежд омрачено и развеяно... И сколько было исполненных желаний, успехов, радости и счастья!.. Древо человечества продолжало жить, взамен опавших листьев появлялись новые...

Никто из смертных не в состоянии заглянуть в будущее, предугадать таинственные предначертания судьбы, определить время, отпущенное его душе на пребывание во плоти в земной командировке... Никто не в силах перелистать книгу жизни и вычитать в ней написанные невидимыми чернилами строки, содержащие ключ к разгадке тайны грядущего дня.

Над миром уже давно висела, как дамоклов меч, угроза ядерной войны, но люди будто бы привыкли к ней и вновь с нетерпением, верой и надеждой встречали неизвестность...

Часы пробили двенадцать. Пролетел год и канул в бездну вечности, оставив на земле глубокие следы и пишу для целых поколений историков, писателей, летописцев.

Сверкающий гирляндами разноцветных лампочек и длинными цепями уличных фонарей, с разрисованными витринами и замысловатыми светящимися рекламами, разодетый и разукрашенный, как невеста, город встречал нового посланника времени.

Георгий Григолиа. Рассказы.



Под черный купол неба взвились огненные фонтаны фейерверков, зажглись, замерцали звезды ракет. Пальбой из ружей, пистолетов и хлопушек люди приветствовали Новый год!..

Широко распахнув окно, маэстро с торжественным видом снял со стены старинное одноствольное ружье, оставшееся ему в наследство от отца и деда, взвел курок, высунул дуло за оконную раму, зажмурив глаза, нажал на гашетку, однако выстрела не последовало...

— Черт возьми, осечка! — недовольно заметил он, снова взвел курок и выстрелил.

Из стального дула молнией вылетела огненная струя, громовой раскат сотряс всю комнату. Ружье дернулось назад, ударило прикладом нашего героя, который, не удержавшись на ногах, плюхнулся прямо на пол.

Афродита подбежала к мужу, схватила его под мышки и вместе с еще дымившимся после выстрела ружьем поставила на ноги.

— Ты не ушибся, мой brave джигит? — с волнением спросила она.

— Пустяки! — ответил «brave джигит» и как ни в чем не бывало повесил ружье на место.

«Это тебе не скрипка!» — язвительно подумала про себя Афродита, вслух любезно пригласив мужа к столу.

За праздничным новогодним столом Антониус и Афродита сидели одни. Из репродуктора лилась бодрящая застольная песня «Мравалжамиэр». Когда песня смолкла, воспользовавшись паузой, Афродита взяла из хрустальной вазы кусок нарезанного ромбиками традиционного гозинаки и, положив его в рот супругу, сказала: «Чтоб тебе так сладко жилось, мой ненаглядный!». Маэстро отблагодарил ее, повторив со своей стороны то же. Сладкое супруги запили искрящимся шампанским, пожелали друг другу счастья и доброго здоровья, скрепив слова печатью поцелуя. Закончив церемониал, супруги уселись на места и устались в сторону прихожей, где с минуты на минуту должен был появиться желанный первый гость — меккле — с благими пожеланиями и сердечными поздравлениями.

По установившемуся обычаю этим меквле в семье Бетанэли всегда был Аполлон — счастливый отец трех взрослых сыновей. Так было в прошлом, позапрошлом и других бесплодно ушедших годах, и несмотря на то, что новогодние явления Аполлона не приносили желаемого счастья, супруги продолжали верить, что его посещение станет наконец предвестником крупного поворота в их судьбе.

Хотя что могли сделать «счастливая нога и легкая рука» Аполлона там, где опытные руки известных медиков были бессильны! (Афродита тайком от мужа ходила лечиться). Но, как мы знаем, надежда — это драгоценное чувство, присущее потомкам Адама и Евы, — представляет собой тот спасительный якорь, за который всю жизнь цепляется человек. Она помогает людям стойко переносить бури и невзгоды, не отрываться от гавани, упорно держаться на зыбкой поверхности житейской суеты, она удерживает в гармоническом единстве душу и плоть человеческую, не давая им возможности преждевременно покинуть друг друга, так как первая постоянно рвется в небеса, а вторая, подчиняясь законам земного притяжения, тянется вниз, где, лишенная души, превращается в прах...

Около часу ночи в прихожей наконец раздался звонок. Афродита, просияв, вскочила и помчалась к дверям.

На пороге стоял маленький дед-мороз. В правой руке он держал разукрашенную и разубранную искусственную елочку, левой придерживал висевшую через плечо сумочку. Минувя его, Афродита вышла на лестничную площадку. Наружная лампочка слабо мерцала... Она перегнулась через перила. Никого! «Кто там? Не прячься, Аполлон!» — крикнула она. Однако на ее зов никто не откликнулся. В дверях возник маэстро и при виде деда-мороза восхищенно воскликнул: «Какая прелестная кукла!».

— Это все проделки Аполлона! — заключила Афродита. — Смотри, потом двери не открою! — пригрозила она невидимому брату и осторожно подхватила на руки куклу, чтоб внести ее в квартиру, но с изумлением почувствовала, что в руках ее оказалось нечто



тяжелое, мягкое, носящее признаки жизни... существо!

— Боже мой! Ведь это ребенок! — вырвалось из груди ошеломленной женщины, и она поспешила в дом.

— Мама! Ма-ма! — Зазвенел, как колокольчик, звонкий, серебристый голос ребенка.

— Э.. э... э... что это за шутки?! — растерялся маэстро.

Афродита осторожно сняла маску деда-мороза, и на руках у нее оказалась чернокудрая девчушка, на нежно-белом лице которой светились голубые глазки, гранатового цвета губки напоминали лепестки розы, очерченные, как лук амура.

Ребенок обратил свои излучающие свет, чистые, как горный родник, глаза в сторону маэстро и, указав на него грациозным движением прекрасной головки, четко произнес: «Па-па»!

— Да, это наш папа! — дрожащим от волнения голосом сказала Афродита.

Услышав это, маэстро подпрыгнул от удовольствия. Взяв у ребенка елку и бережно поставив ее на комод, он буквально вырвал из рук жены малютку и стал осыпать ее поцелуями.

— Доченька моя, доченька! — лепетал опьяненный счастьем музыкант. — Да, я твой папа! Твой любящий папа!

— Не простуди ребенка! — озабоченно крикнула Афродита, в которой сразу пробудился дремавший материнский инстинкт.

Она быстро сняла с девочки пуховую шапочку и варежки. Белую кроличью шубенку они сняли вместе, при этом уронили на пол сумочку, висевшую поверх шубки на плече девочки. Малютка вырвалась из рук супругов, схватила пухлой ручонкой свой «саквояж» и с обиженным выражением лица прижала его к груди.

— Тат низя! — залепетала она. — Тут мои документы! Тат низя!

Маэстро извинился, опустился на корточки перед девочкой, взял у нее сумочку и извлек из нее сперва малюсенькие, отделанные кружевами розовые штанишки, затем два комплекта детского белья, несколь-



ко шоколадных конфет и наконец сложенный вдвое конверт, на котором золотыми буквами было выведено: «Поздравляем с Новым годом!»

Дрожащими руками маэстро раскрыл конверт и вынул из него хрустящую, как банковский билет, зеленоватую бумажку.

— «Свидетельство о рождении», — прочел он громко. Супруги переглянулись.

Маэстро продолжал читать:

— Гражданка Бетанэли Мзия Антоновна — родилась восьмого марта тысяча девятьсот... года, место рождения ребенка — город Тбилиси Грузинской ССР. Отец — Бетанэли Антон Сергеевич, мать — Бетанэли Афродита Бикентьевна...

Маэстро, который сразу не смог осмыслить содержание документа, несколько раз вслух перечитал его.

— Джейри, дорогая, ведь это наша законная дочь! Наша Мзия! — задыхаясь от радости, обратился он к супруге, в отвешивающих медью крашенных и тщательно уложенных волосах которой бесцеремонно возилась своими пухлыми ручонками малютка Мзия.

— Совсем на тебя похожа! — понежневшим голосом произнесла счастливая мама.

— Я думаю, она больше похожа на тебя! — сказал маэстро, обняв жену и дочь, насколько это позволяли ему сделать его музыкальные руки.

Так неожиданно и невероятно счастье ворвалось наконец в семью Бетанэли и, следует полагать, надолго поселилось там.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ИЛИ ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ

ЧТО хотите говорить, но в жизни каждого человека

бывает полоса невезения. Приходит время, когда тебя перестают или просто не желают понимать!

Именно в такую полосу попал я совсем недавно. По профессии я портной, по призванию закройщик. Портным может стать каждый, кто захочет, чтобы стать закройщиком, надо иметь особый талант, то есть надо быть подлинным художником, что дается человеку только свыше.

Георгий Григолиа. Рассказы.

Кстати, на всевышнего я не обижаюсь, он щедро одарил меня, но вот люди... сами понимаете, люди бывают разные...

Не буду утверждать, что я знаменитость, однако в микрорайоне, где находится наше ателье индпошива одежды, меня хорошо знают, поэтому недостатка в клиентуре не испытываю. Закройщик я одиночка, подручных не имею, сам крою, сам шью — исключительно мужскую одежду, то есть костюмы в полном комплекте. Что такое костюм, думаю, каждый из вас знает.

Как волку нужна шкура, барану — шерсть и змее — сорочка (то есть кожа, которую она меняет), так современному мужчине, особенно горожанину, нужен костюм. Если на вас модный, хорошо сшитый костюм, вы — человек! Если нет костюма... Думаю, все ясно и понятно!

Кто побогаче, то есть умеет жить, в год раз пять-шесть меняет костюм. Порядочные и скромные, как овечки, люди, живущие на чистую зарплату, с трудом справляют себе один костюм в три, четыре года раз.

Попадают еще и такие святые, которые в жизни раз, и то на свадьбу, справляют себе костюм и в том же костюме отправляются на тот свет! А если костюм плохо сшит, как его примут там?!

Костюм для человека — все равно что футляр, чехол, витрина или реклама. Недаром сказано мудрыми людьми, что человека «по одежке принимают, по уму провожают». Примут, усадят за стол, а там, когда набьете себе желудок, уже не имеет значения, как вас будут провожать.

Не хвалюсь, но мастер я высшего класса. Такие плечи, талию, такой жилет и брючную пару никто не сможет смастерить, кроме меня. Следует отметить, что качество отреза не имеет значения. Главное — пошив, мастерство портного!

Один мой клиент, доктор философии, как-то заметил: «Плохо сшитый костюм — это наполовину отравленная жизнь!». Я бы сказал наоборот: «Хорошо сшитый костюм — это счастье, радость и веселое настроение!..»

Теперь я спрашиваю вас: можно ли купить счастье по прейскурантной цене? Молчите? Тогда я отвечу:



если бы можно было приобрести счастье по прейскурантной цене, то все люди на земле были бы счастливы. Но это невозможно. Нет, и еще раз нет!

Лично я делю клиентуру на три категории: на волков, баранов и змей. Когда ко мне приходит клиент, я всегда учтиво осведомляюсь: «Сколько времени собираетесь носить костюм?». По физиономии-то вижу, с кем имею дело, но хочу, чтобы совесть была чиста. Если клиент небрежно отвечает — «Поношу сезон и хватит!» — значит, у него куры денег не клюют. Значит, клиент достойный. «Квитанцию выписать?» — уточняю я. «Какую еще квитанцию?» — возмущается клиент. Ага, не хочет оставлять следов, это определенно волк! Такому сшей как хочешь и бери с него сколько хочешь! Не предаст, не продаст, жаловаться не будет. Но я все-таки обожаю барашков, жалко мне их, годами приходится им в одной и той же шкуре ходить. Барашка распознать нетрудно. Я сразу узнаю такого клиента. На нем непременно потрепанный костюм фабричного пошива, от которого исходит слабый запах химчистки, рукава укорочены и загнуты вовнутрь, как у школьника. Брюки, как стильные джинсы, местами выцветшие, местами заштопаны. Пакет с отрезом прижимает к груди, как возлюбленную, смотрит на прейскуронт, как на икону. «Кто здесь Жора?» — деланным волчьим голосом спрашивает барашек. Видимо, где-то слышал мое имя. «Мэ... э... э», — говорю — то есть «я».

— Жора-джан! — говорит барашек с волчьим горором. — Костюм ты должен мне сшить, и чтоб по самой последней моде!

— Вы какой желаете, — спрашиваю я, — счастливый или обыкновенный?

— Как изволили сказать? — прикидывается непонятливым барашек.

— Если желаете обыкновенный, то есть по прейскуронтной цене, — объясняю я, — то лучше идите в магазин, тут же рядом, товар на выбор, к тому же дешево обойдется.

— Нет, нет! Шесть лет жизни отравил мне этот магазинный костюм! Хватит с меня!

— Значит, счастливый хотите? — спрашиваю я.

— Да, да, счастливый! — радуется клиент.

— Счастливый костюм имеет свои накладные расходы, — поясняю я.

— Пожалуйста! — говорит он. — Я готов понести эти расходы, в конце концов не каждый год справляю себе костюм!

Такой клиент никогда не будет жаловаться, если не изведешь его, да и вообще среди барашков редко попадают интриганы.

Между нами говоря, что такое пятьдесят рублей — «верх»? Сущие пустяки! Если костюм рассчитан на пять лет носки, то в год получается десять рублей. Разве каждый счастливый год не стоит десятки?

Таким образом, все жили в ладу — я, мои овцы и волки. Что касается змей, им подавай счастье на блюдечке, да еще по прейскурантной цене! Чуть что не так, непременно ужалит. Змей надо остерегаться!

Как-то раз явился ко мне такой змей-горыныч и заказал костюм. Сами знаете, как змеи умеют маскироваться, я его за барана принял, ошибся!

Сшил я ему костюм, одно загляденье! Уплатил он по квитанции стоимость пошива, вижу... собирается уходить! Не вытерпел я, учтиво спрашиваю:

— А как будет, уважаемый, с накладными расходами?

— Сколько с меня? — осведомляется он.

— Свыше десяти — сколько Вашей душе будет угодно! — скромно отвечаю я.

Вынул он из кармана хрустящую ассигнацию и дает мне. Поздравил я его с обновой и положил деньги в карман. Он ничего не сказал, только как-то ехидно улыбнулся. Тут-то я услышал, как он зашипел, и увидел, как между зубами его мелькнул раздвоенный язык.

Кровь ударила мне в голову, давление сразу подскочило на двести сорок! Хотел вернуть деньги, но было поздно. Над головой моей встали два неприятнейших субъекта. Как потом выяснилось, один — работник ОБХСС, другой из народного контроля... Налетели они на меня, стали составлять акт, говорят мне: «Вы, гражданин, вымогательством занимаетесь!». Я чуть с ума не сошел, говорю, какое тут вымогатель-



ство, человек добровольно подарил деньги за хорошую работу, так сказать, магарыч справил, а вы мне пришиваете черт знает что!..

Вместо того чтобы выслушать меня и объективно разобраться в деле, проверяющие еще обиделись и сказали, что я болтаю глупости! Как вам нравится?! Никто не любит правду, потому что правда, она глаза колет, а кому приятно, когда ему глаза колют?

Оформили акт, сняли меня с работы и еще под суд отдали.

На этом разрешите откланяться, простите, спешу в прокуратуру. Только ничего плохого не подумайте... Между нами говоря, просто должен снять мерку со следователя.

Итак, всего хорошего и до скорого свидания. Не забывайте, что мастер я высшего класса! И что поло-са невезения не бывает бесконечной!

Со слов портного записал

Георгий Григолия.




КРИТИКА

И

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Тамаз ЧИЛАДЗЕ

ПРЕДВЕСТИЕ ВЕСНЫ



«В ЕПХИСТКАОСАНИ»
сегодня одна из самых живых книг. А

столь долгая жизнь равна бессмертию. С каждым днем все новых и новых читателей привлекает эта книга своей неувыдаемой прелестью, пленяет своей исключительностью, так отличающими ее от множества других великих творений и в то же время сближающими, роднящими с бессмертными памятниками других народов. Этим я хочу сказать, что, питая дух родного народа, поэма Руставели одновременно обогащает культурную сокровищницу всего человечества, как редкая, с трудом добытая жемчужина.

Благодаря этой поэме нам близки и понятны все великие творения разных народов мира. И также благодаря этой поэме внимание просвещенного мира сегодня обращено к тому древнейшему народу, который донес до наших дней так бережно, так полно свою многотрадальную жизнь, отмеченную не только следами от ран и пожарищами, но и тем таинственным светом, что источают неугасшие по сей день памятники прошлого.

Встреча с великим поэтом, а особенно с таким по-

Печатается в сокращении



этом, как Руставели, важна еще и потому, что в сердце
вине природы и жизни мы видим собственную личность, оза-
ренную, окрыленную великой идеей осмысленного существо-
вания. Это видение, навечно запечатленное в наших душах,
придает нам силу, смелость, подталкивает к пути, который ве-
дет в будущее, заставляет познать и ощутить себя неотъем-
лемой частью народа, то есть соучастником величайшего об-
щечеловеческого дела, зовущегося жизнью.

Руставели нашел и выделил в руде грузинского слова
главную жилу, аорту нашего национального духа, характера,
свойства. Кто-то из современников мыслителей заметил, что
Грецию объединили поэмы Гомера. Так и Руставели. Его свет-
лый дар осуществил идейное объединение Грузии. Силу столь
активного воздействия его поэмы можно сравнить лишь с ка-
кой-нибудь религией или политическим учением.

Вместе с тем гений Руставели вывел нас за пределы на-
шего собственного существования, заставил выглянуть за ту
высокую ограду, а точнее — разрушил ограду, окружавшую
до той поры наши представления и наши мечты.

**Кто себе друзей не ищет,
Самому себе он враг.**

(Перевод Ш. Нуцубидзе)

Это, разумеется, не просто эффектная поэтическая
фраза, здесь мы имеем дело с одним из основных параграфов
морального кодекса, духовной конституции нашего народа,
которая подразумевает отнюдь не поиски сильного покрови-
теля, а взаимопонимание, уважение, дружбу только равных
и равноправных.

Со времени появления этой поэмы в Грузии практиче-
ски не осталось никого, кто бы не высказал о ней своего соб-
ственного мнения. Некоторые мнения изложены печатно и
известны всем, большинство же — собранные воедино —
стали общей всенародной мыслью.

У нас нет ничего дороже «Вепхисткаосани». В этом бес-
смертном произведении сконцентрированы мудрость и ог-
ромный жизненный опыт нашего народа. По этой книге ино-
странцы могут получить почти полное представление о гру-
зинах. Важа Пшавела сказал: «Руставели — это та же Гру-
зия». Если бы наш народ не создал ничего другого, благо-
даря одной этой книге он заслуживал бы право упоминаться
среди самых просвещенных народов.

Кем бы ни был автор поэмы, народ дал ему имя —

Шота Руставели, и сегодня это не просто имя и фамилия, а показатель высшей степени превосходства, высоты, почти божественности. Более того, Шота Руставели сегодня — это понятие, тождественное понятию грузинский народ, ибо в этом понятии как бы сосредоточены все главные достоинства нашего народа: талант, доброта, стойкость, дружба, любовь, уважение к личности. Каков Руставели, таков и грузинский народ, и каков грузинский народ, таков и Руставели..

Подобно тому, как стены храмов и монастырей испещрены каракулями туристов, текст поэмы несет след самых заветных чувств и мыслей то страдающих от одиночества переписчиков, то читателей, подвигнутых этой великой поэзией на собственные литературные опыты.

Текст «Вепхисткаосани» испещрен множеством вставленных позднее слов, строк, строф, целых эпизодов. Не следует забывать, что благодаря своей удивительной, недостижимой простоте, поэма настроила целый народ на пение, то есть возбудила у всех жгучее желание высказаться — у знати и бедняков, у талантливых и бесталанных. Всех принудила задуматься о собственной личности. Каждому из нас захотелось привязать кусочек своей души, словно заговоренный лоскуток, к какой-нибудь ветви именно этой поэмы, точно к сказочному дереву желаний. В жизни целого народа произошло крупнейшее событие — мы нашли самый верный путь к спасению, чтобы не исчезнуть из этого мира бесследно. И в самом деле, несмотря на существование в грузинской действительности многочисленных памятников материальной культуры, ни один из них в такой степени не вызывает ощущения бессмертия, как «Вепхисткаосани». Таким образом, сам по себе варварский акт (я имею в виду вставки в поэму, поправки, продолжения) имеет и вторую, обратную, сторону, я бы сказал — оправдание, вызванное весьма трагическими обстоятельствами. И тот, кто знаком с историей нашего народа, согласится со мной, что эти интерполяторские попытки можно сравнить с отпечатками, которые оставляли руки тонущих на бревне, сохранившем им жизнь.

Итак, дошедший до нас текст, испещренный добавлениями и вставками, представляющий для ученых настоящий ребус, примечателен еще и тем, что нет второго такого произведения, которое бы сохранило столько автографов, пре-

тендующих на соавторство. Это как будто свидетельство бес-
смертия, под которым расписался весь народ.

В «Вепхисткаосани» грузинский народ увидел свой об-
раз, услышал собственный голос, ощутил свое сердцебиение;
более того — он попытался угадать по этому произведению
свою судьбу (ведь у нас и раньше было и по сей день рас-
пространено гадание по тексту «Вепхисткаосани»).

Весьма примечательна фраза Теймураза Багратиони:
«Простой народ много читает «Вепхисткаосани»; «много чи-
тает» — ведь это значит, что и понимает тоже...

Хочется обратиться к поэме слова, сказанные американ-
ской писательницей Джойс Кэрол Оутс об одном американ-
ском романе: «Это вещь настолько сильная, что после ее
прочтения чувствуешь потребность сейчас же перечитать весь
роман вновь, ибо в процессе чтения мы сами меняемся и,
подойдя к концу, сознаем, что только теперь мы действитель-
но готовы к тому, чтобы ее читать».

Применительно к поэме Руставели можно значительно
углубить эту мысль американской писательницы и сказать:
лишь после прочтения «Вепхисткаосани» мы становимся до-
стойными его прочтения! Здесь, разумеется, речь идет не об
обычном прочтении, а о нескончаемом процессе роста соб-
ственной личности. Произведения, подобные «Вепхисткаоса-
ни», разумеется, существуют, но их мало, хотя и не может
быть иначе. Что я хочу этим сказать: читать эту поэму в
обычном смысле этого слова невозможно, ею нужно жить!

И в то же время обязательно следует заметить, что Ру-
ставели почти целиком зависит от читателя, он доверяет чи-
тателю, но такому, который способен не только усвоить сю-
жет, не только восхищаться мелодиями и афоризмами, но
обладает даром воображения, может ощутить беспредель-
ность, непрерывность поэтического пространства, говоря сло-
вами Данте, может насладиться лицезрением того безлюдно-
го мира, что простирается по ту сторону источающего свет
солнца. И главное, способен не просто читать текст, не про-
сто постигать то, что лежит на поверхности, но слышать и
видеть то неслышное и невидимое, что зовется поэтической
мыслью, поэтическим светом, что скрыто в недрах произве-
дения, подобно некоему таинственному существу.

¹ Теймураз Багратиони — известный историк, почетный член
Петербургской Академии наук, автор комментария к «Вепхисткао-
сани», умер в 1846 году. (Здесь и далее примечания переводчика).

Руставели создал «метафизический язык» грузинского духа, суть которого великолепно разъяснил Галактион Табидзе: «Грузия у поэта и поэт у Грузии позаимствовали манеру разговора, манеру душевного порыва, манеру борьбы. Грузия впитала в себя вкус поэта, его привычки, его ласку, его любовные слова. Грузия и поэзия в равной степени сложны, испытаны и возвышены богатым и многокрасочным прошлым. Здесь Шота Руставели история, а не легенда».

Руствелологи, вообще говоря, разительно друг от друга отличаются. Чем крупнее ученый, тем больше он поэт, поскольку поэзия есть состояние души, тот тайный контакт, ощущение мира, дар видеть и замечать те таинственные признаки, которые ставят рядом Шекспира, Колумба и Коперника. И поэтому тот, кто в большей степени способен пережить поэзию, кто в большей степени поэт, тот лучше может раскрыть (если это вообще возможно!) или хотя бы попытаться раскрыть заключенную в поэме тайну. Во всяком случае, такой ученый способен постичь своеобразие организации поэтической системы.

Надеюсь, никто не подумает, будто бы я считаю идеальным исследователем поэмы Руставели того, кто сам пишет стихи, кого мы сегодня называем поэтом в силу рода его занятия. Отнюдь нет — я здесь подразумеваю дар, поэтический слух, постоянную готовность к встрече с поэзией, то есть я подразумеваю счастливые, врожденные свойства природы. Ведь не зря Гегель говорил, что об истории серьезно судить невозможно, если не обладаешь эстетическим чувством. Справедливое замечание, и не только в отношении истории, но и вообще, в связи со всякой наукой.

Рассуждая о поэзии, мы порой забываем, что речь идет именно о поэзии, то есть об искусстве. Иногда забываем об этом сознательно, ибо в определенных и очень влиятельных кругах наших ученых такой подход к поэзии уже считается узаконенной нормой и малейшее от нее отклонение вызывает если не гнев вышеупомянутых ученых, то уж во всяком случае ироническую улыбку.

Поэзию, разумеется, не воспримешь одним лишь прочтением, ее нужно чувствовать. Возможно, те слова А. Фета, которые я приведу ниже, не были адресованы исследователям поэзии, но несомненно касаются их тоже: «Ты видишь или чувствуешь в мире то, что видели или чувляли в нем Фидий, Шекспир, Бетховен?». «Нет», «Ступай!».

Замечательный исследователь «Вепхисткаосани» Шал-

ва Нуцубидзе сказал: «Кроме филологического прочтения/ текст требует прочтения поэтического». К сожалению, сам он порой забывал об этом, будучи самым поэтичным среди наших новейших философов. Однако он первым произнес эти слова, а сходную мысль впоследствии повторяли другие ученые, в том числе и такие, которых при всем желании в поэтичности не заподозришь.

Неужели то, что «непосвященному» читателю нравится в поэме, не есть поэзия? Неужели этот читатель всего-навсего жертва неправильного понимания, неверных грамматических форм, ошибок пера переписчиков, и истинный гений Руставели для них так и остался непостижимым? Нет, если бы это было так, следовало бы впредь до полного установления подлинного текста запереть поэму в сейфе и никого к ней не допускать. Но в самом деле, возможно ли раз и навсегда установить текст поэмы? Один из текстологов-исследователей поэмы полагает, что работа в этом направлении может продлиться еще «сотни лет». Что мы можем сказать по поводу этого? Разумеется, так оно и будет, но в то же время никто не станет отрицать, что поэма упрямо завоевывает все новые и новые умы и сердца, с удивительной живой силой воздействует на читателей, и трудно поверить, что сила подобного воздействия зиждется на одних лишь ошибках. Разве сложность текста, ошибки переписчиков, опыты эпигонов смогут сыграть такую роковую роль? Неужели поэма и вправду так непонятна «непосвященным» читателям? Как тут не вспомнить Акакия Церетели: «...неужели это увлечение и восторг народа — простая случайность?».

Правда, читатель многого не понимает в поэме, в ней много непонятных слов, выражений, метафор. Но разве может со временем абсолютно все стать ясным? Разве это возможно вообще? Да и обязательно ли, чтобы все было ясным, как в учебнике по истории литературы? И наконец, если бы текст поэмы филологически был установлен, разве со стороны поэзии все стало бы объяснимо?

Не существует раз и навсегда истолкованного стиха, а если существует, значит это не настоящий стих.

Поэзия — живое существо в том смысле, что непрерывно рождает в своих недрах новые, неожиданные свойства. Ю. Тынянов хорошо сказал, что в отличие от человека, стихи оживают — и не однажды.

Книга, именуемая Поэзией, не имеет готовых ответов на последней странице, подобно школьному задачнику, с

которыми можно сверить полученный результат и проверить, правильно ли твое личное впечатление, понимание, мнение. Но дело еще и в том, что в поэзии совсем не обязательно выяснять все до конца, более того — нежелательно!

Первоначальный текст поэмы, в конечном итоге, усилиями ученых, возможно, будет установлен. В этом направлении наша руствелология добивается больших успехов, возможно, будет обнаружен даже самый подлинник, но окончательно установить поэтический текст поэмы и соответственно исчерпывающе истолковать его — вот это совершенно невозможно.

Научный текст, бесспорно, должен быть один (желательно!), поэтических же столько, сколько читателей (это тоже желательно!).

Интересно все-таки, кого же следует подразумевать под «непосвященным читателем»? Может быть, того, кто, читая поэму, не думает, что Руставели писал под влиянием идей Аристотеля, Платона или Псевдо-Дионисия Ареопагита, кто не выискивает в каждой строфе, строке, в каждом слове аллегорий, символов, эзотерических знаков, кто доверяется божественной простоте Руставели и распаивает душу его музыке, кто верит, что поэт не ставит своему читателю философско-мистических ловушек, не измеряет его меркой знания законов поэзии и теологии (если бы это было так, то и господь-бог впускал бы в церковь только ректоров духовных семинарий!), а напротив, указывает ему самый короткий путь к бесценному кладу — к собственной личности, учит любви к другу, жалости к слабому, уважению к другим народам, стойкости и терпению, одним словом — учит всему тому, что необходимо для земной жизни, да, именно для Жизни, а не просто для существования.

Не мироустройство разъяснила человеку поэма, она открыла перед ним мир, обогатила его душу новым качеством — ощущением безграничности мира; показала ему небо, которое в нашей литературе и, соответственно, в нашей действительности, впервые предстало не как мрачное, таинственное обиталище бога, а как бескрайнее пространство, усеянное звездами, где у каждой планеты, как у человека, свой характер, свои черты. Это было великим новаторским деянием Руставели, ни с чем не сравнимым по важности достижением поэтического духа, куда более важным, чем создание какой-либо астрономической теории. Впрочем, те, кто приписывает Руставели особые научные дарования и даже научные труды,



руководствуются самыми добрыми побуждениями, желая тем самым еще более возвеличить поэта, как верующие га, как будто бога можно еще более возвеличить...

В книгах наших ученых Руставели выступает то как хранитель казны, то как полководец, то как епископ. Среди таких «доброхотов» мы часто встречаем весьма серьезных ученых, их мнения звучат особенно категорично. И мы, то бишь «непосвященные читатели», растерянные от стольких должностей, профессий поэта, от его многогранности вообще, начинаем сомневаться в правильности таких суждений не потому, что не хотим верить, просто нас не могут убедить в том, что эти категорические утверждения достойны большего доверия, чем фольклорные представления.

«Биографы» Руставели утверждают, что поэт был прежде всего знатным вельможей и поэзия для него была всего лишь увлечением. Так же, как и биографы Шекспира не верят, что просто поэт, да еще выходец из незнатных слоев, мог создать такое чудо поэтического мышления. Их явно не устраивает, что автор гениального творения всего-навсего поэт. В их представлении такой поэт непременно должен был принадлежать к знатному роду, занимать высокий пост при дворе.

Как известно, автором шекспировских пьес сначала считали философа Фрэнсиса Бэкона, потом графа Дерби, затем лорда Рэтленда и многих других высокопоставленных лиц, только бы не признать создателем этих блистательных трагедий простого поэта, актера!

Подобное в отношении Руставели произошло и у нас и, что удивительно, продолжается по сей день: многим хочется, чтобы автор поэмы непременно был знатным вельможей, к примеру, хранителем царской казны. Непонятно только, почему мы должны думать, что такой пронизательный правитель, как Георгий III, доверил создание поэмы, которой придавал особое значение в связи с воцарением дочери, не профессиональному поэту, а, допустим, министру финансов!

Может быть, кто-либо скажет, как неоднократно говорили и раньше, что и министр финансов, и полководец, и епископ могли обладать поэтическим даром, и что это обстоятельство никого не должно удивлять — особенно в Грузии, где даже цари — и те были поэтами.

Что можно противопоставить этой, на первый взгляд, железной логике? Во-первых, человек, наделенный поэтическим даром, это одно, а настоящий поэт — совсем другое. Поэма совершенно очевидно не является плодом побочного увлечения

или так называемого хобби. И во-вторых, такого царя-поэта, которого по силе поэтического дарования можно было бы даже с большими оговорками сравнить с Руставели, не сыскать не только в грузинской, но и во всей мировой литературе.

Бесспорно, что придворный чин Руставели — легенда, причем созданная в последующие эпохи.

Я полагаю, нам придется раз и навсегда смириться с мыслью, что Руставели — профессиональный поэт, а не вельможа, наделенный поэтическим даром. Кстати сказать, придворный поэт в неменьшей степени, чем любой вельможа, должен был обладать всеми знаниями, необходимыми для написания этой поэмы. Более того — поэт лучше должен был знать, к примеру, весь рыцарский кодекс, независимо от того, был он сам рыцарем или нет. В конце концов, не исключено, что придворный поэт и сам был рыцарем...

Да, Руставели — профессиональный поэт, член «специальной поэтической гильдии», активнейший деятель «целого литературного департамента», существовавшего при царском дворе.

Поэзия и в Грузии считалась почетным ремеслом. «Я, Руставели, взялся за ремесло сие», — то есть я, Руставели, делаю то дело, которое является моим ремеслом. «Должен каждый примириться с предназначенной судьбой»¹. Это тоже его слова, и как видно, вопреки мнению некоторых наших исследователей, сам поэт своей участью был вполне удовлетворен.

И в то же время ничего нет удивительного в том, что нам не жалко для великого поэта любого почетного звания: и полководца, и хранителя казны, и епископа, и астронома, и живописца, и композитора... Прежде всего, как я уже сказал, это своеобразное выражение глубочайшего почтения, восхищения или, если угодно, благодарности.

Разумеется, благодарность и уважение — это хорошо, ничего иного Руставели с нашей стороны и не заслуживает, но необходимо учесть одно обстоятельство — гений не нуждается ни в каких искусственных прибавлениях.

Психологически та же причина лежит в основе попыток некоторых наших исследователей представить Руставели философом.

Мне кажется, когда мы судим о «Вепхисткаосани», в первую очередь необходимо помнить о том, что это муд-

¹ Перевод П. Петренко.



рость поэзии, а не философский трактат, разработанный в рамках некоей философской школы. Ведь сам Руставели сказал: «Поэзия — род познания» (для Данте Орфей — мудрец! А Арчил¹ писал: «Руставели — кладезь премудрости»). Некоторые ученые известную строку Руставели «Стихотворство — род познания, возвышающего дух»², истолковывают так, что получается, будто он считал поэзию отраслью философии. В то время как Руставели, называя кого-нибудь мудрецом, вовсе не отождествляет его с философом (кроме одного случая, где этот смысл бесспорен: «Мудрый Дивнос утверждает»).

В поэме мудрыми названы Давар, Нестан, предводитель каравана Усам... Для Руставели поэзия — такой же род мудрости, как и философия, да, именно так: Руставели считает и поэзию и философию равноправными «родами познания».

Некоторые ученые видят в поэме сборник философских цитат, забывая о том, что ни одна философская мысль, сентенция не имеет для поэзии никакого значения, если она не претворилась в поэзию. Рильке писал в одном из личных писем: «В моей жизни с какой бы философией я не встречался, всегда относился к ней как к поэзии, с максимальными эстетическими требованиями и минимальной добросовестностью». Что же касается Руставели, он превратил в поэзию огромное философское наследие, переплавил философию в поэзию, придал мысли вместо одного значения — свойство другого, иного значения. Возвел логику на лестницу мечты.

Руставели замешивает в одном волшебном котле все известные ему философские направления, ставит этот котел на огонь поэзии и добывает эликсир, который может одарить бессмертием душу целого народа. Это не поэтическая алхимия, это действие отмечено искренностью и естественностью; по ту сторону метафизических представлений дышит словно первозданный мир, от всего в этом мире исходит запах свежеспеченного хлеба.

Идеи и мысли Руставели своей глубиной и величиим иногда действительно напоминают наиболее известные и распространенные идеи и мысли из интеллектуальной сокровищницы человечества. Однако родство здесь только в величии.

¹ Арчил (1647—1713) — царь, поэт, общественный и литературный деятель.

² Перевод Н. Заболоцкого.

Разумеется, Руставели был знаком с культурным наследием человечества, бесспорно, что то заимствовал из сочинений античных и средневековых философов, основательно знал и упоминал произведения великих писателей. Однако отношение его к предшественникам-философам в первую очередь творческое.

Между прочим, уровень мышления героев поэмы легко позволяет определить уровень просвещенности гениального поэта. Кстати сказать, это тоже немало — исследователей традиционного толка в этом направлении ждут очень интересные и важные открытия. Вообще же в связи с поэмой ничего нельзя утверждать категорически, что это именно так, а не иначе. Поэма — океан, выбрасывающий из своих недр все новые и новые тайны. Поэтому каждое новое поколение читателей сталкивается в этой поэме со своей загадкой, и еще много ученых и поэтов будут трудиться над установлением и истолкованием текста поэмы, и труд их никогда не будет тщетным.

Эдуард Юнг (1683 — 1765) сказал о Шекспире: поэт своим предтечам приходится не сыном, а братом. Эту мысль можно повторить в адрес Руставели. Юнгу же принадлежит меткая фраза: «То, что придает блеск историку, то затемняет поэта». Перефразируя эти слова, можно полушутя сказать: то, что возвышает философа, принижает поэта...

«Ни Шекспир, ни Данте не были серьезными мыслителями», — это слова Томаса Элиота, и раз уж речь зашла о цитатах, вспомним еще одно интереснейшее высказывание Фета: «Можно быть величайшим художником-поэтом, не будучи мыслителем в смысле житейском или философском...».

Примечательно, что некоторые исследователи творчества Шекспира, касаясь философии великого англичанина, слово философия заключают в кавычки.

Может быть, мы наконец смиримся с мыслью, что Руставели не философ, а поэт, что поэзия — «один из родов познания», что у нас нет никаких оснований ставить философию выше поэзии, тем более что мы пока не знаем ни одного произведения грузинского философа, которое можно было бы поставить рядом с «Вепхисткаосани» — образцом высшей поэтической мудрости.

И все-таки поэзия и философия несравненно ближе друг другу, чем остальные «роды познания». Именно Руставели доказывает, что мысль поэтическая отнюдь не исключает философской, как и философская, в свою очередь, не исключает



ет поэтической. Однако из «Вепхисткаосани» мы извлекаем еще одну более важную истину: мудрым является не философ, а человек!

Поистине странно и в то же время досадно, что мы почти не имеем достоверных сведений об авторе этой бессмертной поэмы. Вопрос этот по сей день не прояснен, и, следует заметить, что ни одно литературное явление, даже более раннее, не окутано такой неопределенностью, такой таинственностью, как этот уникальный памятник, особенно любимый нашим народом, созданный в самую блистательную эпоху грузинской истории.

Видимо, с Руставели действительно связана какая-то катастрофа, скорее всего политического характера, иначе трудно объяснить полное исчезновение имени Руставели из документов того времени, сохранивших нам даже имена двух женщин-послов царицы Тамар. Нельзя забывать также о том, что Руставели заметно выделялся среди своих коллег. Ведь именно ему и никому другому заказали поэму! Это нам известно достоверно, ибо так говорится в поэме.

Среди многочисленных легенд, связанных с биографией Руставели, есть одна, на мой взгляд, представляющая особый интерес — она повествует об изгнании поэта. Здесь же хочу заметить, что истоки этих легенд, кроме животворных недр фольклора, как это ни удивительно, следует искать в трудах наших ученых, посвященных биографии Руставели.

Биографический метод анализа произведения, как известно, ненадежен даже в тех случаях, когда жизнь автора изучена досконально. Мы же применяем этот метод к «Вепхисткаосани», ничего кроме народных сказаний не зная о ее авторе. Этот путь приводит порой к самым неожиданным заключениям..

Единственным источником легенды о любви царицы Тамар и Шота Руставели является фольклор. Никаких других сведений помимо этого благородного желания нашего народа связать друг с другом две выдающиеся личности, жившие в одну эпоху, у нас нет.

Невольно вспоминаются слова мудрого Акакия Церетели: «...Эти произведения не нравственная аллегория, как утверждает царь Вахтанг, и не тщетная безнравственная сказ-

ка, как говорит католикос Антоний¹, и не восхваление Тamar, и не личные чувства Руставели, как полагают некоторые.

«Вепхисткаосани» — высшая поэзия, «искусство, переделанное, переосмысленное для человека», а не художественный пересказ автобиографических фактов, как это ошибочно думают многие. А корень ошибки — в народном сознании, где выросла и привольно расцвела легенда о любви Руставели и Тamar.

Верно сказано, что художественное произведение — непригодный документ для биографии автора. Поэтому, полагаю, следует значительно больше внимания обращать на элементы мечты, фантазии, вымысла в этой поэме, нежели на автобиографические, либо исповедальные мотивы, наличие которых в «Вепхисткаосани» действительно трудно представить.

Поиски в содержании поэмы биографии поэта оказались для руствелологии поистине роковыми. Беллетристический запал почти целиком завладел вниманием многих очень серьезных исследователей, хотя яснее ясного, что обороты, принимаемые нами за изъявление любви, есть не что иное как стандартная форма посвящения: всякий, связанный с этой формой эпитет или метафора — стандарт, клише, дозволенные официальной цензурой и более того — узаконенные ею. Любой придворный поэт — а к их числу относился и Руставели, наверно, так же обращался в своих произведениях к Тamar. Это подтверждает хотя бы поэма Чахрухадзе.

В «Вепхисткаосани» много и другого стандартного, традиционного, узаконенного. Величие Руставели еще и в том, что в окаменелые поэтические клише он вдыхает новую жизнь, придает им новую мысль, новое значение, создавая новый образ, новое слово, зовущиеся образом Руставели, метафорой Руставели, словом Руставели.

Фольклорные представления, порой незаметно для нас, глубоко проникают в наше сознание и, бесспорно, оказывают влияние на наше мышление. Уже тот факт, что ученые ищут могилу Руставели за пределами его родины, говорит о том, что мы почти целиком доверились единственному дорожному указателю, который, по сути, уводит нас в дебри фолькло-

¹ Католикос Антоний — церковный и литературный деятель XVIII в., известен своим критическим отношением к поэме Руставели.



ра, а не в область, связанную с реальной биографией Руставели.

Разумеется, мысль о его изгнании вполне допустима, но бесспорно и другое: эта версия пока не вышла за рамки фольклорных представлений. В то же время нет такой легенды, сказки, мифа, которые возникли бы вне связи с жизненным явлением. Говоря по-другому, основа всех сказок — правда. Вышеупомянутая легенда, наверное, берет свое начало из реального события, но постепенно меняет свой облик и развивается совсем по иному пути. Поэт и вправду пертерпевал гонения из-за своей поэмы, что подтверждается двумя бесспорными документами: это «Комментарий» Вахтанга¹ и пролог самой поэмы.

В этих гонениях нет ничего удивительного, и случай этот далеко не исключительный. Но любопытно — что же все-таки произошло, почему, как было отмечено выше, имя Руставели бесследно исчезло со страниц наших летописей и хроник?

Не следует забывать, что Вахтанг отстоит от Руставели дальше, чем мы с вами сегодня. Он — зачинатель руствелологии, после него эта наука выросла и обогатилась беспредельно. Поэтому сегодня мы знаем об эпохе Руставели, о текстах поэмы значительно больше, чем знал Вахтанг. И все же заслуга его в изучении грузинской культуры вообще и поэмы Руставели в частности огромна.

Первой светской книгой, напечатанной в грузинской типографии, была «Вепхисткаосани», и произошло это благодаря самоотверженным стараниям Вахтанга. Сам прекрасный поэт, человек высокопросвещенный и образованный, обладатель редкого поэтического слуха, он, разумеется, хорошо знал истинную ценность поэмы Руставели, поэтому его комментарий к ней особенно нам интересен.

Первое, самое определенное ощущение от «Комментария» — это осторожность: Вахтанг знает о Руставели значительно больше, чем пишет, хотя надо полагать, он и не мог высказать всего. И вообще при чтении «Комментария» создается впечатление, что происходит реабилитация Шота Руставели.

«Книгу Руставели надлежит изучить от начала и до конца», — заявляет Вахтанг. Судя по «Комментарию», го-

¹ Вахтанг VI (1675—1737) — царь, поэт, первый комментатор поэмы Руставели.

нения на Руставели продолжались долго. И начались не сегодня и не вчера. Бахтанг, по сути, успокаивает, вразумляет недругов поэта, и в то же время его «Комментарий» носит отпечаток определенной политической тенденции. Редактор поэмы подчеркивает национальность автора, христианский характер его сочинения и его антивосточную, в частности, антиперсидскую направленность.

Сейчас для нас это особенно интересно: Вахтанг наверняка знал, почему поэма подверглась остракизму; правда, в «Комментарии» он молчит об этом, однако специально подчеркнутая антиперсидская направленность произведения звучит как некий намек на подлинную причину гонений.

Мудрые действия Вахтанга — напечатание «Вепхисткаосани» — еще раз показали, что единственным верным оружием нашего народа, которое в мирные времена выводило Грузию на международную арену, а в пору бедствий спасало от гибели, — была грузинская книга.

Второе свидетельство гонений поэта заключено в самой поэме, а точнее — в ее прологе.

Хотя пролог (так же, как и эпилог) до сих пор считается самой неясной, неустановленной частью поэмы, все же налицо его сходство с европейскими рыцарскими кодексами и с трактатами о стихосложении. Именно это обстоятельство позволило нашим исследователям категорически утверждать идентичность характера и сути западноевропейского и грузинского институтов рыцарства.

На мой взгляд, ни одна часть поэмы не является такой непоэтичной, как пролог (разумеется, если слово «непоэтичная» вообще применимо к созданию Руставели!). Иноязычный читатель не сможет почувствовать с помощью пролога «силу поэтического слова Руставели». Пролог, по моему мнению, представляет собой своего рода теоретический трактат, добавленный позднее к поэме самим Руставели.

Есть ученые, усматривающие поэтическую мощь Руставели в так называемой теоретико-философской стороне «Вепхисткаосани», словно место Руставели в сокровищнице всемирной культуры определяется тем, насколько последовательно придерживался он, к примеру, учения Псевдо-Дионисия Ареопагита. Это само по себе, возможно, и заслуживающее внимания соображение никаких достоинств, разумеется, не прибавляет поэту. Мы знаем достаточно грузинских философов, которые, честно говоря, в своих трудах передали нам суть ареопагитики лучше Руставели, но никто не счи-



тает их поэтами, что в общем-то нисколько не принижает их как философов.

Что же касается отношения к прологу как к части, наилучшим образом вводящей читателя в «поэтический мир Руставели», — то эта мысль распространена среди наших ученых и стала одним из основополагающих тезисов руствелологии. «...Пролог, бесспорно, служит ключом к миру идей «Вепхисткаосани», «идейно-художественная сущность поэмы должна быть рассмотрена и оценена с позиций, изложенных в прологе...» и т. п.

Для многих исследователей пролог превратился в компас, но никто не усомнился — в самом ли деле поэт задумал эту часть как компас. Бесспорно, в прологе автор представляет нам все в идеальном виде, особенно то, что касается политической стороны; в идеальном же виде представлены нормы рыцарского быта; как раз поэтому признающие пролог «ключом» к образам и идеям поэмы идеализируют и ее героев, отторгают от них обычные человеческие черты и превращают их в застывшие схемы-символы, вместо живого человека преподносят статую. Здесь же хочу заметить, что если пролог и служит «ключом» к чему-то, то это явно ключ не от той двери, которая вводит нас в мир поэмы. Несмотря на то, что в прологе строфы, принадлежащие перу Руставели, местами сверкают, как звезды, нигде на протяжении всего произведения так явно не просматривается рука интерполяторов, как здесь. В прологе они выглядят особенно смелыми и спорят уже не только друг с другом, но и с самим Руставели, как справедливо отметили в свое время наши руствелологи.

Вообще строфы пролога напоминают нам шахматные фигуры, с помощью которых каждый исследователь разыгрывает выгодную для себя партию.

В прологе, конечно, сохранились «лучшие строфы» Руставели, вырисовывающие одно очень интересное для нас обстоятельство: пролог — не часть поэмы, пролог и поэма — два совершенно разные поэтические или философские произведения, и что главное — выражающие совершенно различные политические взгляды!

Мысль о том, что пролог написан после поэмы, то есть после основного ее текста, в руствелологии не нова. В данном случае гораздо интереснее то, что один из наших писателей называл пролог своеобразной «объяснительной запис-

кой». Зачем понадобилось писать такое «объяснение» поэту, которому заказали поэму, выделив его среди прочих стихотворцев? Что вменялось в вину автору столь величественного творения? Ведь объяснение пишет тот, кто в чем-то виноват, вернее, кого в чем-то обвиняют, и он вынужден оправдываться.

Первым исследователем, особо отметившим европейскую природу поэмы, признавшим ее явлением антиперсидским, был Вахтанг VI. Эту мысль он четко и недвусмысленно сформулировал в своем «Комментарии» (еще до Вахтанга другой царь-поэт заметил то же самое, точнее, на себе испытал истинную суть Руставели, но об этом пойдет разговор ниже).

Здесь же необходимо добавить, что противопоставление восточной и западной культур, само собою разумеется, исключает какой-либо приоритет одной из них. В условиях же тогдашней действительности это противопоставление можно представить себе в какой-то степени условно, так как в ту эпоху оно ощущалось менее остро, чем сейчас. Более того, восточная культура представляется значительно более самобытной, нежели европейская, которая достаточно много позаимствовала у восточного, в частности арабского, искусства и науки.

«Эту персидскую историю...», — сказал Руставели, тем самым указывая на нереальный, сказочный характер повествования, ибо для него Персия — такая же вымышленная, в данном случае, страна, как Аравия, Индия, Мульгазанзар или Гуланшаро. Определение «персидская история» означает для автора историю сказочную, окутанную дымкой таинственности — историю восточную, азиатскую, а вовсе не указывает на первоисточник поэмы, как это считают некоторые исследователи, по сей день ищущие ее «оригинал» в Иране. Это все равно, что в нынешних арабских странах искать могилу Ростевана или в Гуланшаро (некоторые ученые установили будто бы действительное местонахождение этого города!) — незаконных отпрысков Автандила.

Вахтангу принадлежат слова: «В Персии подобной истории нигде не обнаружено...». Руставели свойственна манера приписывать вымышленные, сказочные события реально существовавшим странам: Аравии, Индии, Китаю... К этой же категории относится и Персия, в данном контексте выглядящая, как и Гуланшаро. Для Руставели как бы не су-



существует конкретного географического окружения, русские и персы, французы и египтяне — все вместе выходит мать пёсне Автандила.

В «Вепхисткаосани» Аравия также носит условный характер, «не соответствующий Аравии ни реалиями, ни колоритом» — пишет востоковед К. Церетели. Такой же условный характер носит в поэме и Персия. В данном случае можно вспомнить и о том, что в поэме нет пустыни. В этом мире, полном морей, рек, дремучих лесов, зеленых лугов, образ пустыни можно создать, лишь упомянув купеческие караваны.

Пространство, на котором раскинулся сказочный мир Руставели, можно назвать фантастической географией. И в то же время этот сказочный мир обладает одной странностью — в нем нет ничего сказочного, самая мельчайшая деталь здесь отмечена редкостной убедительностью и, если можно так выразиться, поразительной подлинностью.

По мнению известного ученого А. Михайлова, совсем необязательно, чтобы герои рыцарских романов действовали в реальной житейской обстановке, они могут существовать в псевдоисторической, фантастической или условно-ориенталистской среде. Весьма примечательное соображение! Именно в фантастических или условно-ориенталистских условиях действуют герои Руставели, подобно героям западноевропейского рыцарского романа. Между прочим, представления о Востоке, бытовавшие в средние века у жителей Франции, о которых говорит А. Михайлов, очень напоминают наш полусказочный край, описанный в «Вепхисткаосани». Правда, в Грузии прекрасно знали Восток, но отношение к нему здесь было такое же, как у жителей любой европейской страны.

Автором французского прозаического произведения «Роман о Тристане» назван Люс дель Гати. Книгу закончил другой писатель — Эли де Борон. Оба утверждают, что перевели роман с латинского. Однако ученые им не верят, ибо такой книги на латыни не существовало (А. Михайлов). Почему бы и нам не предположить, что «персидское происхождение» поэмы Руставели — явление аналогичного характера? Приходит на память известное признание Важа Пшавела: «...Много историй и сказок я создал, и ни на йоту нет в них народных сказаний, хотя в скобках я указывал: «Старинная быль», «Сказка», «Предание».

Получилось так, что в одном из последних переводов

«Вепхисткаосани» на английский язык были сокращены сцены «любовного безумия» и плача, по мнению некоторых грузинских исследователей поэмы, непривычные для европейского читателя.

Вообще-то говоря, как известно, если переводчики и опускают что-то в тексте (что само по себе не очень похвально), то в первую очередь это касается привычных, а вовсе не непривычных эпизодов. Кроме того, для европейской литературы той эпохи, к которой хотя бы приблизительно относится «Вепхисткаосани», сцены любовного безумия и слез характерны в не меньшей степени. Так что вернее было бы предположить, что переводчица опускала все же мотивы, хорошо знакомые европейскому читателю, а не наоборот.

К сожалению, я не могу судить об английском тексте перевода, но если в нем действительно сокращены «столь характерные и естественные для восточной литературы» эпизоды, значит повисла в воздухе гениальная и совершенно новая для того времени мысль, особенно четко выделяющаяся именно на фоне сцен любовного безумия и слез, мысль, которую смело можно назвать одним из подлинных открытий в сфере человеческого духа:

**Эти обмороки, слезы я за службу не сочла,
Соверши ты для любимой небывалые дела.**

(Перевод П. Петренко).

Это одна из самых удивительных фраз для того времени, когда «любовное безумие» признавалось одной из обязательных черт восточной и европейской куртуазности. В «Вепхисткаосани» же борются против этого, что было исключительным явлением для европейской литературы той эпохи!

Таким образом, опуская сцены «любовного безумия» при переводе поэмы, мы лишаем читателя возможности постигнуть качественно новую для европейской литературы мысль. Ведь в поэме именно для того и льется столько слез, чтобы подчеркнуть мудрые действия Нестан и Автандила, выделить новые духовные устремления героев! Здесь мы имеем дело с педалированным контрастом, который требует особого внимания и осторожности при переводе на другой язык.



Надо полагать, что поклонники «сладо́сти персидского языка» в свое время удивлялись тому, что в «персидской повести» Руставели не было ничего персидского. А поскольку они и впрямь воспринимали поэму как «персидскую повесть» и по своей литературной просвещенности, масштабу мышления и вкусу стояли намного ниже исследователей последующего периода, то и старались сделать поэму более «персидской», вставляя в нее персидские термины, отсутствие которых считали ошибкой предыдущих переписчиков; при этом они были убеждены, что делают доброе дело, ибо понятие «персидское» для них означало превосходную степень качества!

Может, поэма потому и дошла до нас, потому и избежала полного уничтожения в ту суровую эпоху, узаконенное название для которой — «Возрождение» — звучит по меньшей мере как ирония, что ее действительно считали персидской или пытались замаскировать под таковую и, чувствуя трагизм ситуации, добавляли в текст слово «мечеть» для того, чтобы польстить царю-вероотступнику, только бы одичавший повелитель не приказал ее сжечь! Наверняка были и такие переписчики, и такие повелители. Представьте, какое облегчение испытывал царь-вероотступник, читая в тексте, что и Автандил, подобно ему, посещал мечеть!

Важа Пшавела справедливо заметил, что ни об одном из героев поэмы не скажешь, что он не грузин. Действие «Гамлета» происходит в Дании, но никто, даже сами датчане, не станут утверждать, что Гамлет — датчанин, хотя у датчанина с англичанином больше общего, чем у грузина с арабом!

Известный шекспировед М. Морозов пишет: «В конечном итоге зрителю было все равно, где происходило действие, ибо по существу оно происходило в Англии». Энгельс сказал о Шекспире: «Здесь все происходит только и только под небом Англии». В поэме Руставели, несмотря на старания автора, говоря словами Важа Пшавела, «грузинская суть действующих лиц высовывается, подобно хвосту краденого петуха». Только один пример: багдадские купцы — правверные мусульмане — почему-то именно в беседе с «арабом» Автандилом вспоминают ма ч а р и.

В связи с этим можно допустить и такую версию: интерпретаторы более поздней эпохи (эпохи упадка) были настолько восхищены персидской поэзией, что утверждали:

«Вепхисткаосани» — такая же подлинная и высокая поэзия, как и персидская, при этом они были уверены, что делают Руставели комплимент.

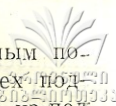
Выше я упомянул, что еще до Вахтанга VI другой царь-поэт заметил антивосточную природу «Вепхисткаосани». Этим поэтом был Теймураз I.

В отличие от Руставели, для Теймураза понятие «персидское» имело конкретное содержание. Ощувив сокрушительную силу гения, Теймураз обнаружил, сколь паляще и губительно солнце, вокруг которого вращаются эпигоны Руставели. Поэтому он попытался отстоять свое поэтическое «я», воздвигнуть плотину, которая хоть немного усмирила бы натиск огненной волны, и нашел противодействие в образе совершенно чужого мира — мира великой персидской поэзии!

По сути это психологически самое достоверное доказательство того, что поэма Руставели — явление антиперсидское. «Сладость персидского языка внушила мне страсть к стихотворству!» — это слова отчаявшегося, потерявшего равновесие духа поэта. Только здесь «язык» следует понимать как «поэзия», та же музыка. Это демонстративное признание приоритета восточного поэтического мышления «в пику» европейскому.

Кстати, не один Теймураз пошел этим путем. Даже если не принимать во внимание мелких, незначительных поэтов, уже в поэме Чахрухадзе нетрудно заметить сильное излучение восточной поэзии, а грузинский героический роман «Амиран-Дареджаниани» — можно сказать, вышел по персидской канве. Здесь необходима оговорка: литературное влияние не нужно связывать с мировоззренческими проблемами поэта, они должны рассматриваться наряду с формальными, художественно-изобразительными средствами. Ярче всего об этом свидетельствует пример самого Теймураза: как царь... (впрочем, оставим в стороне его царский титул), как человек он был неусыпным врагом Персии, но как поэт — заморожен персидской поэзией. Таким образом, «бунт» Теймураза против влияния Руставели был трагичен по своей сути и трагически же завершился. Персидская поэзия стала для него кандалами, одно эпигонство сменилось другим. Вот и все. Я говорю об этом с сожалением, вызванным хотя бы

¹ Теймураз I — царь, грузинский поэт XVII века.



тем обстоятельством, что Теймураз обладал недюжинным поэтическим даром. И потом, он резко отличается от тех подражателей, которые даже не пытались высвободиться из-под влияния огненного мира Руставели, сознательно остались в нем, полностью утратив свое лицо, и по сей день в истории грузинской литературы за ними сохранилось имя эпигонов Руставели (а для поэта нет более унижительного имени). Этих поэтов, в основном, пленила виртуозная архитектура поэмы Руставели. Вытянув из ткани поэмы кончик нити, они ткали из нее собственную рубашку. В результате на страницах истории грузинской литературы покоится ныне множество поэтов в одинаковых одеждах...

Можно сказать, что впервые «Вепхисткаосани» со всей полнотой и глубиной прочитало поколение Вахтанга VI и, разумеется, в первую очередь Давид Гурамишвили, пожалуй, даже глубже, чем кто-либо из современников Руставели.

После Гурамишвили множество новых прежде незамеченных живительных источников обнаружил в бессмертной поэме Николоз Бараташвили. Его лирика вышла из недр «Вепхисткаосани». Бараташвили сделал явными тайные, скрытые образы и мелодии Руставели и тем самым создал своеобразный лирический комментарий к поэме.

Истинные последователи Руставели (Гурамишвили, Бараташвили, Важа Пшавела, Акакий Церетели) восприняли «Вепхисткаосани» как музыку, «музыку нашей души». На протяжении веков снимая запоры с умов и сердец, имя Руставели постепенно росло, возносилось ввысь и сегодня стало для нас синонимом бога. Однако были времена, когда его хоть и считали великим поэтом, но осмеливались состязаться, спорить, соперничать с ним. Этой смелостью, говоря мягко, а точнее — отвагой отчаянья, как правило, отличались эпигоны Руставели, и поэтому сегодня они вызывают у нас лишь горькую улыбку сожаления.

Вообще эволюция отношения грузинских поэтов к Руставели — вопрос очень интересный и о многом говорящий.

Руставели постепенно рос и возносился, однако не отдалялся от нас, а напротив — становился более близким. Я уверен, что спустя несколько веков он будет еще ближе грузинскому читателю..

Грузинская литература изначально, генетически была связана с европейской. Об этом свидетельствует хотя бы наша блистательная агиография и гимнография. В данном случае мы не стали бы отделять византийскую литературу от

западноевропейской, как это принято в трудах византологов, что Д. С. Лихачев справедливо называет «недоразумением». Для развития грузинской литературы характерна та же закономерность, что и для европейской, разумеется, с учетом формального и национального своеобразия.

Я полагаю, здесь же необходимо напомнить, что в понимании Ильи Чавчавадзе «европеизм» в грузинской литературе означает возвращение к национальным истокам, проявление и восстановление подлинной ее сути.


В Грузии того периода активно протекала культурно-строительная деятельность, начатая Давидом и успешно продолженная царицей Тамар. Строились крепости и дворцы, церкви и монастыри, лечебницы, мосты, приюты, караван-сарай... Прокладывались дороги... В скалах высекались целые города. Стены и своды храмов украшались фресками, написанными кистью подлинных мастеров, к примеру таких, как «царский живописец Тэвдоре», иконы чеканили великие Бена и Бешкен Опизари.

И в самом деле трудно переоценить масштаб культурных сдвигов, столь характерных для эпохи Давида и Тамар. Показательно, что фундамент политического могущества Грузии XII века Ив. Джавахишвили видит именно в активизации культурной деятельности, предшествовавшей указанной эпохе.

Особо следует отметить подлинный взлет филологии. Это один из первых случаев, когда филологические науки превратились в политический институт государства, задача которого заключалась в восстановлении связей с Европой, пошатнувшихся в годы «великой туретчины». Надо сказать, что задача эта выполнялась весьма успешно. На этом фоне неизмеримо возрастает роль грузинского языка как орудия, объединяющего нацию. Известное выражение Георгия Мерчуле¹ — «Грузией зовется обширная страна, в которой богослужение производится повсюду на грузинском языке», — приобретает идеологическое значение.

Поистине удивительным примером целеустремленности и организованности, царящих в различных областях науки, служит основание Давидом Строителем Гелатской Академии. Эта Академия по характеру и масштабу своей деятельности

¹ Георгий Мерчуле — писатель и мыслитель, создавший в X веке «Житие Григория Хандзтели», выдающийся образец средневековой грузинской литературы.



в сущности является первым грузинским университетом, а Иоанна Петрици¹ — «пастыря пастырей» этой Академии в таком случае можно считать ректором этого университета.

Пушкин называл Ломоносова «великим соратником великого Петра». Иоанн Петрици был великим соратником великого Давида.

Гелатский университет собрал вокруг себя лучшие умы Грузии еще очень далеко до той поры, когда Ришелье призовет членов созданной им Французской Академии и скажет: пора учиться мыслить по-государственному.

В Грузии той эпохи почти в государственный принцип возводилось толерантное, в высшей степени терпимое отношение к другим религиям и вероисповеданиям, что само по себе уже было верным признаком политической мощи и вместе с тем высокой культуры.


Ученые сообщают нам интереснейший факт: оказывается, Иоанн Петрици спрашивал у слушателей Гелатской Академии, существует ли бог, и тем, кто отвечал на этот вопрос отрицательно, не грозил геенной огненной. Он действовал лишь силой убеждения. Как видим, отношение Иоанна Петрици к неверующим разительно отличалось от фанатизма схоластиков, которые были готовы насаждать свои взгляды огнем и мечом.

Более того, из вышесказанного следует, что в Гелатской Академии обучались люди, сомневавшиеся в существовании бога! Это факт, сам по себе говорящий о многом. Необходимо отметить, что в тогдашней Грузии невозможно было представить себе религиозную резню, происходившую, к примеру, в центре Европы — во Франции.

В грузинском обществе считалось хорошим тоном и почти обязательным для всех его членов (имеются в виду, разумеется, самые высшие слои общества) наряду с изящными искусствами знание философии, астрономии или математики. Переводилось и комментировалось множество трудов известных философов, теологов и схоластиков. Грузинская философская мысль приобщалась ко всем более или менее интересным для той эпохи направлениям.

Среди теологов и схоластиков того периода, чьи книги

¹ Иоанн Петрици (ум. ок. 1125 г.) — крупнейший представитель философской мысли Грузии, получивший образование в Константинополе, связанный с Петрицонской семинарией (в нынешней Болгарии) и Гелатской Академией.



были переведены на грузинский, наша современная руствелология особо выделила одного — Псевдо-Дионисия Ареопагита, подлинную звезду христианской церкви. На первый взгляд, он заслужил такое внимание тем, что сам Руставели упоминает его в своей поэме («Мудрый Дивнос...»). Дорого же обошлось ей это единственное упоминание. Но об этом ниже.

Из рассуждений некоторых руствелологов следует, что существуют уже готовые «мысли и образы», то есть полуфабрикаты «необходимого мировоззрения». Поэт должен взять эти готовые «мироощущения», и на этом его задача, с точки зрения философского мышления, заканчивается. Прискорбно, если такое возможно, но к счастью, это не так. Так можно рассуждать о каменщике, возводящем стену из готовых, обожженных другими кирпичей. Поэт не сможет построить свою «стену», если «кирпичи» сделаны не им самим.

«Поэт... не философ!» — эта истина принадлежит Ш. Нуцубидзе. Почти все исследователи-философы или большинство из них начинают с этого, но... вскоре забывают эту истину. Согласно их теории, Руставели взял уже существовавшее «готовое миропонимание», то есть философское или теологическое учение Псевдо-Дионисия Ареопагита (того же Петра Ивера, как считает Ш. Нуцубидзе), и с его помощью создал ту «образную действительность», которую мы, «непосвященные читатели», считали принадлежностью поэзии. Невольно приходит на память поистине мудрая фраза того же Ш. Нуцубидзе: «Там, где уровень художественного творчества нуждается в подкреплении философией, дело плохо!».

Наши исследователи-философы, допустив мысль о добавлении к учению Псевдо-Дионисия, стали искать в поэме зло, которое отрицал философ, и, полагаясь лишь на самодельные локаторы, объявили, что нашли его, признав за зло самое невероятное: среду «торгового капитала» и роман Фатьмы и Автандила, который специально с этой целью поднят на уровень философской категории.

Отношение Руставели к социальной группе купцов явно отличается от отношения, узаконенного в западноевропейском рыцарском романе, хотя бы потому, что позиция автора здесь не только отрицательная, но и положительная. А это, в известном смысле, уже прогрессивный шаг, говорящий о приобретении купечеством определенного влияния в Грузии. Переодевание Автандила в купца говорит, с одной стороны, о том, что рыцарь прибегает к самой недостойной для аристократа и неожиданной из масок, чтобы получше скрыть свое истин-



ное лицо. Но с другой стороны, этот факт свидетельствует также о том, что барьер между аристократами и купцами стал ниже. Причем, в данном случае в облики купцов выступает добрая «сила», а не злая, как это принято в рыцарском романе. Этот факт свидетельствует об изменении отношения к самому понятию «купец». В поэме купцы — деловые, безобидные (если не считать Усена, чьи отрицательные черты не следует объяснять социальными причинами) люди, а предводителя каравана Усама Руставели называет мудрым: «Усам, мудрый человек, старейшина каравана».

Руставели и не презирает и не любит купцов, он знает их положительные и отрицательные стороны. И если в адрес купцов сказано «робкие» — это ни в коем случае не следует объяснять презрением к ним. Автандил, который это слово произносит, констатирует лишь факт, ему и в голову не приходит издеваться над купцами, унижать их, что, бесспорно, в наших глазах принизило бы его собственную личность. За словом «робкие» идет как бы пояснение — «неискушенные в боях», то есть робость купцов объясняется их неопытностью в ратных делах. Из-за этого Автандил не стал бы ни над кем смеяться, во-первых, потому что сам прекрасный воин, во-вторых — он понимает, что каждый должен владеть своим ремеслом, «довольствоваться» им, а признавая это, он не может издеваться над людьми, занятыми пусть другим, но своим делом.

Когда герои поэмы находят доспехи дэвов, Руставели замечает: «Я заметил, не продадут», иными словами, доспехи так понравились рыцарям, что они решили оставить их себе, не продавать. А это говорит о том, что в ту эпоху торговля вовсе не считалась зазорным для рыцарей занятием. Напротив, была принята и широко распространена купля-продажа оружия. Из истории известно, что западноевропейские рыцари вступали в торговые отношения с городскими патрициями и не гнушались деловыми контактами.

То, что Автандил отправился с багдадскими купцами в качестве конвоя, тоже, видимо, взято автором из реальной действительности: наверное, грузинские рыцари обеспечивали безопасность нужных им караванов.

И в то же время недопустимо искать в поэме признаки полного согласия и взаимопонимания между купцами и рыцарями. Ведь купцы это «одно», а рыцари — совсем «другое». Это понимает и Фатьма — причина ее тайной печали, в определенном смысле, именно в том и заключается, что

она жена купца, а не рыцаря. Выкладывая перед Автандилом разные наряды, она не столько хочет добиться от него правды, сколько мечтает, чтобы осуществилась ее мечта — то есть, чтобы Автандил оказался рыцарем, а не купцом, как ее законный супруг.

Большинство наших исследователей считает Фатьму личностью аморальной, хотя, честно говоря, аморальной она может показаться лишь собственной свекрови или золовке, то есть тем людям, которые питают к Усену родственные чувства, и поэтому этот лживый, злобный и коварный человек видится им ангелом. Некоторые ученые по сей день не могут простить Фатьме ее измены мужу (если это можно считать изменой), хотя психологическая или даже социальная основа этой измены осталась ими не изученной.

Вызывающая беспечность Фатьмы носит показной характер. На самом деле она ранена отсутствием любви, как сама говорит, «бессердечием», она мечется, борется, неутомимо стремится к свету, ибо невзирая на царящий в семье моральный или этический нигилизм, сохранила лучшие из человеческих качеств: доброту, желание помочь попавшему в беду...

Фатьма лучше всех остальных знает, что самое большое счастье — любить одного, и в поэме, освещенной чистой любовью и величайшей верностью единственному существу, Фатьма, конечно, жертва, словно для того введенная автором в сюжет, чтобы показать, как страшно жить без любви. Разве та ирония, тот сарказм, с которыми Фатьма говорит о себе и о своей судьбе, не выдают, как глубоко ранена она своей горькой долей, разве не обнаруживают благородства ее души, совершенно излишнего и бесполезного в том мире, где она живет.

С каким самозабвением припадает, прикипает она к Автандилу, словно к лучу света, проникшему сюда из ее духовной прародины. Свет ослепил ее, ибо именно она смогла заметить, увидеть, воспринять этот свет, осмыслить, усвоить. Этот свет не был для нее чуждым! Фатьма и Автандил встречаются как люди общей духовной биографии. В переодетом Автандиле именно Фатьма узнает того, кого ждала всем своим существом, ностальгия по кому душила ее, для встречи с кем всегда была готова сердцем, разумом, телом... Она знает, что есть другой, лучший мир, что кроме тех, кто ее окружает, есть другие, лучшие люди, и сама она — дитя той, другой страны, существующей в ее мечтах, снящейся по но-



чам, стоящей перед глазами днем. Она ровня тем, чьих имен не знает, но чувствует, что они существуют у самого ее сердца — так беременная женщина чувствует плод. Помните, как отключается она от общего веселья, как покидает гостей и, сама не зная куда, наугад, в надежде на одну лишь мечту, подвластная мечте, окруженная, словно ореолом, все той же мечтой, следует за невидимой силой.

Фатьма — «ровня» Нестан, Тинатин, Тариэлу и Автандилу, луч, навсегда затерянный в другой Каджетской крепости — Гуланшаро. Кто спасет ее? — этот вопрос по сей день мучает читателя поэмы, как неизбывная «вечная боль».

На некоторых исследователей неизгладимое впечатление произвели представители купечества, выразительно обрисованные грузинскими писателями и драматургами XIX века. Вот они и рассматривают купцов эпохи Руставели в том же привычном ракурсе, мёряют их, так сказать, тем же аршином, забывая, что для Грузии XIX столетия (если судить по литературе) купеческая прослойка психологически была более чуждой, чем для Грузии XII. Рядом с купечеством «Вепхисткаосани» купцы XIX века выглядят мелкими лавочниками.

Называя Фатьму вульгарной, мы, по моему глубокому убеждению, совершенно незаслуженно унижаем эту замечательную женщину, тем более, что подобное отношение к ней, как уже было сказано, обусловлено инерцией выработавшихся только и только в минувшем веке взглядов на купцов и их жен.

Руставели изображает в поэме движение новых социальных характеров, развитие их духовных устремлений и чаяний, он замечает великодушие и благородство там, где никто этого не ждал. Что же касается вопроса симпатий и антипатий по отношению к тем или иным персонажам, то его всегда следует рассматривать с позиций историзма. Особенно примечателен тот факт, что Руставели взирает на рождение нового мира не с феодальной, то есть традиционной позиции, а с совершенно новой высоты.

История отношений Фатьмы с Автандилом, как ни трудно в это поверить некоторым ученым (а таких немало!), — это прежде всего сердечная любовь. Прекрасно охарактеризовал их чувство Ш. Нуцубидзе, назвав его «внезапной любовью!» Какое точное определение по сей день необъяснимого стремления друг к другу двух прекрасных существ — Фатьмы и Автандила.

Фатьма в поэме олицетворяет добро. Разве не она покровительствует Нестан, разве не с помощью Фатьмы Автандил узнает о злключениях Нестан, и вообще, разве не при ее содействии герои достигают желанной цели?

Фатьма — очень интересный человеческий характер, являющийся, это можно утверждать смело, украшением поэмы. Руствелологи почему-то невзлюбили ее с самого же начала, хотя, разумеется, это распространяется не на всех исследователей. Есть среди них и те, кто превозносит Фатьму. Например, один исследователь пишет следующее: «По существу, в поэме мы имеем дело с двумя романами: 1. Нестан и Тариэла; 2. Фатьмы и Автандила». Столь сурово осуждаемая некоторыми исследователями Фатьма возвела в жизненный принцип добро, помощь другим. Можно сказать, что она — то самое воплощение гуманизма, которое как отблеск Ренессанса ученые-философы ищут в других характерах, в то время, как жена богатого купца прямо-таки источает его лучи.

Руставели вообще не делит своих героев на два лагеря — моральных и аморальных, как это кажется некоторым. Руставели чуждо понятие морального гетто, так же как чуждо ему все, что сковывает истинные человеческие чувства. Ведь в поэме нет ничего, что выходило бы за рамки нормальных человеческих чувств и заслуживало бы порицания.

Герои «Вепхисткаосани» — Автандил, Тинатин, Нестан, Тариэл, Фатьма и Аснат принадлежат к более высокому «сословию», чем «идеализированные герои», ибо они люди. Пусть это никому не покажется патетичным заявлением; необходимость говорить об этом вызвана слишком схематичным толкованием любви некоторыми исследователями. Поэма — гимн человеческой любви. Поэтому так режет слух искусственно созданный в руствелологии совершенно непонятный термин «бабья любовь» — в связи с «Вепхисткаосани» он звучит так же неуместно, как любовь «платоническая», «животная», «ангельская». Часть авторов трактует известную фразу Фатьмы, как подтверждение ее «сексуальной неудовлетворенности»: «Надоел мне муж-торговец, неказистый, тощий, вздорный...». Эти слова Фатьмы могут остаться непонятными вообще и в то же время циничными, если мы не примем во внимание манеру Фатьмы, ее голос, особенности ее речи: ведь ей свойственно говорить о себе в насмешливом, безжалостном тоне!

Все бранные эпитеты, которые дают основание ученым

говорить о «легком поведении» Фатьмы, исходят из ее собственных уст.

Это прежде всего свидетельствует о том, что она обладает чувством юмора, что, в свою очередь, указывает на то, что она мыслит, грустит... Вообще у героев Руставели удивительное чувство юмора. Юмор, ирония по отношению к самим себе еще больше возвышают их, обогащают, украшают. И в этом отношении пальма первенства принадлежит именно Фатьме, чьи поистине «карнавальные» словечки и обороты впечатляюще действуют на читателя.

В прямоте Фатьмы, в ее речевой бесцеремонности есть нечто аристократическое; это очаровательная духовная свобода, широта и в то же время вера в порядочность, благородство слушателей, собеседников. Духовный аристократизм подразумевает достойное партнерство, и это отнюдь не привилегия представителей высшего сословия.

Как мы помним, 1081-ая строфа поэмы читается так:

**Лучше с женщиной не знаться тем, кому под силу это;
Ты отдашь жене все сердце, нежной ласкою согрето,
А она тебе изменит, позабыв слова обета.
Доверять не нужно женам даже малого секрета!**

(Перевод Н. Заболоцкого)

Исследователи высказали предположение, что эта строфа стоит не на своем месте. Однако дальше этого сомнения никто не пошел. А между тем эта строфа, можно сказать, сыграла роковую роль в определении характера Фатьмы — причем «сработала» против нее.

Мне лично эта строфа кажется дорожным указателем, нарочно или случайно перенесенным со своего места и тем самым сбившим с пути многих.

Насколько мы понимаем поэму, ясно, что сформулированная в данной строфе мысль не выражает взгляда автора на женщину вообще. Это скорее всего слова персонажа, причем отнесенные к самому себе. И персонаж этот — Фатьма, ибо именно ей присуща манера говорить о себе в крайне резких, беспощадных выражениях. В данном же случае — она очень сердита на себя, сердита — еще легко сказано, это произносит разъяренная женщина, которая не смогла сберечь тайну Нестан, хотя и «остерегалась доноса», и тем не менее сообщила все Усену. Таким образом, эта строфа и

по смыслу. и по художественной логике должна находиться совсем в другом месте.

Я думаю, что эта строфа должна предвещать эпизод, в котором Фатма сообщает Усену тайну Нестан, точнее номер строфы должен быть 1149, а не 1081.

Если не читать ее как сожаление о том, что почему, дескать, я, такая-сякая, доверила мужу чужую тайну, тогда, разумеется, она (эта строфа) может показаться вообще лишней, вставленной каким-нибудь интерполятором-женоненавистником. Ныне же именно этой строфой открывается глава «Фатма влюбляется в Автандила», и читатель должен помнить, что именно Автандила-то Фатма и не предала!

При чтении этой части поэмы можно вспомнить ставшие классическими любовные треугольники Стендаля, Флобера, Бальзака, Толстого, порожденные буржуазной действительностью. (Н. Марр называл Фатму «буржуйкой», хотя адюльтер был не чужд и феодальному, и рабовладельческому строю). В конце концов, что такое измена Фатмы по сравнению с тем, что позволяли себе жены цезарей! Или вспомним знаменитую супругу короля Артура Гвиневру, или ту же Вис, или Изольду! Фатма рядом с ними выглядит наивной девчонкой! Речи об осквернении ею «семейной чистоты», о разрушении «семейного очага» звучат по меньшей мере комически. Можно ли серьезно рассуждать о «святости» семьи Усена? Это же союз, основанный на расчете, взаимном недоверии, ненависти. Эта семья словно бы родилась прямо на наших глазах, и ей предстоит еще долгий путь развития. Величие Руставели еще и в том, что он увидел эту новую семью, заметил качественно новый ее характер, новые особенности. И в то же время увидел и то, что Фатма — личность трагическая, запутавшаяся в силках прекрасная птица, у которой есть крылья, но которой некуда улететь. Это роднит ее с будущими сестрами из будущей мировой литературы. Через несколько веков судьба таких женщин (а Фатма — первая ласточка, что еще раз доказывает, с каким поэмотитаном мы имеем дело!) своим драматизмом взволнует и потрясет сердца и умы европейских, и не только европейских читателей.

Со страниц, написанных великими писателями, огнем полыхнут на нас образы исстрадавшихся без любви, заточенных в камеры равнодушия женщин. Литературоведы найдут са-



мые различные причины, чтобы объяснить их поведение, вы несут на суд их страсти (на литературных диспутах порой их будут готовы приговорить к смертной казни), однако ни один блюститель нравов, даже сама инспектриса пансиона благородных девиц, не употребит таких эпитетов, которых удостоилась бедная Фатьма. Н. Заболоцкий назвал ее «старой распутницей», что звучит, прямо скажем, неожиданно в устах этого замечательного поэта, переводчика «Вепхисткаосани».

Я полагаю, что не случайно мы часто даем своим дочерям имя Фатьма; это говорит о том, что народ увидел в ее образе больше доброго и хорошего, чем некоторые исследователи.

Кто-то очень верно заметил, что Фатьма печальна. Кем-то было высказано интересное предположение, не похищена ли она из другой страны и не привезена ли в Гуланшаро. Однако печаль Фатьмы, на мой взгляд, иного характера — это тоска по любви, ностальгия по любви; это грусть, вызванная бессердечием, бездуховностью. В Гуланшаро — в беззаботном городе цветов — есть все, кроме любви. Вспомним, что говорит Фатьма: «Мужа посрамляет бессердечие, а женщину — блуд». Обычно все помнят вторую половину строки, более того, она была взята на вооружение учеными против Фатьмы. Первую же половину вспоминают редко, хотя она и намного важнее, ибо именно она является настоящим поэтическим открытием нового отношения к миру, обнаружением корней новой печали, обозначением первых симптомов нового страшного недуга — одиночества.

Любопытно, что в этой насыщенной «сердцем» поэме только Фатьма жалуется на бессердечие! Два понятия: «бессердечие» и «блуд» в этом коротком стихе стоят рядом, и соединяет их некий фатальный драматизм. Таким образом, печаль Фатьмы — первая волна, поднятая тем морем бездушия, в котором суждено погибнуть ее грядущим сестрам по несчастью...

В то же время Гуланшаро — этот рай без любви — нужен автору для контраста, чтобы оценить ту «неистовую любовь», которой одержимы другие его герои, постоянно палящие «жгучим пламенем» (Марсилио Фичино называл любовь «божественным безумием!»). Если что-то и сближает Фатьму с остальными героями поэмы, то это, в первую очередь, печаль, жажда любви, причем не только сближает, но и роднит ее с ними!

Присмотритесь к Фатьме, когда она по-настоящему лю-

бит, — это воплощение нежности, доброты и благородства. Приобщившаяся к великому чувству, по мнению Руставели, очеловечивающему и возвышающему людей, она в состоянии понять Автандила, поверить, что он преодолевает трудности и страдания ради спасения чужой любви. Фатьма любит Автандила, но при этом помогает ему найти Нестан, чтобы он мог вернуться к своей возлюбленной Тинатин (также и Аснат, которая тайно от всех любила Тариэла, как пишет В. Гольцев, но все равно помогала ему в поисках Нестан!).

Руствелологи обычно упрекают Фатьму в жестокости. Правда, она часто произносит слово: «Убейте!» Ведь сопровождавших Нестан каджей убивают по ее приказу! Фатьма и Чачнагира лишает жизни рукой Автандила, но не следует забывать, что все это она делает лишь в целях самозащиты. Да и не только она, ведь и Автандил фактически защищается от Чачнагира. Вспомним, что говорит Фатьма Автандилу: если ты не убьешь Чачнагира, то я тебе советую этой же ночью бежать отсюда. Беспощадность Фатьмы — показная и совершенно иначе воспринимается в контексте своего времени, с учетом анализа тогдашних отношений в обществе. Если Фатьма на самом деле так жестока, то почему она не убивает Автандила, который после своего признания в любви к другой больше Чачнагира заслуживает ее мести. Но дело в том, что Чачнагира она не любила, а Автандила любит. Любит и, главное, знает, что любовь эта взаимная.

Автандил, в свою очередь, мог скрыть от Фатьмы любовь к другой, но не стал унижать ее ложью. Этот факт можно назвать еще одним проявлением благородной натуры, которое также благородно было воспринято.

Так превращается Фатьма из жены купца в такую героиню, которая возвышает не только себя, но достоинство человека вообще. Оба они — и Фатьма, и Автандил — расставаясь, уже не те, что были до встречи. Их внутренний мир расширился, обогатился, углубился, оба стали лучше, многому научились друг у друга, помогли друг другу обрести себя.

Необходимо вспомнить тут один и в самом деле блистательный эпизод: Автандил, убив Чачнагира, возвращается к Фатьме, и та рассказывает ему о Нестан. Автандил счастлив: кончено! Нашел! Выполнил слово, данное побратиму! «За услышанные вести со слезами... славил бога».

Фатьма удивленно взирает на Автандила, он плачет, благодаря господя. Эти слезы подтвердили подозрение Фатьмы:

Автандил не купец, он — рыцарь! Сомнения у нее, собственно, возникли раньше — «Фатьма сомневалась про себя...»

Утром Фатьма устраивает Автандилу своего рода испытание, расставляет ловушку, в которую хитроумный Автандил с легкостью попадает, хотя бы потому, что его маска потеряла смысл — он уже выполнил свой долг, пора уходить отсюда, ведь почти год, как он прибыл в Гуланшаро: «Истекает год». Теперь наш рыцарь вспомнил и о Тинатин. Он лежит рядом с Фатьмой, но его гнетет «мысль о Тинатин», более того — он начинает понимать, словно только теперь открылись у него глаза, что все это время он изменял Тинатин. («Он трепещет тайным трепетом»). Трепет этот свидетельствует о том, что он невольно поднимает Фатьму на уровень Тинатин: лежит не со случайной женщиной, а с любимой!

И вот, одновременно счастливый и потрясенный (возможно, потрясенный именно открытием своей новой «сердечной любви»), Автандил плачет в постели Фатьмы: «Слезы, пролитые им, могли размягчить и камни...»

Фатьма тоже счастлива («наслаждается», «ликует»), но у ее радости иная причина: Автандил — не купец, он другой, витязь, рыцарь! Вот почему шепчет она ему сквозь слезы блаженства: «Рядом с розой и ворона хочет щелкать соловьем...» Да, но ведь это те же самые слова, которые вырвались у Автандила, получившего первое любовное письмо, еще не привыкшего к своей новой роли: «Не чета вороне роза». Да, это те же самые слова, которые, очевидно, слуга, доставивший письмо, сообщил немедленно Фатьме. Вот тогда Фатьма впервые засомневалась — действительно, почему так возмутился Автандил, получив любовное послание от супруги «купеческого старшины», если он был настоящим купцом. Надо сказать здесь и о том, что это письмо отличается искренностью, особенно на фоне тех «пестрых речей», к которым мы привыкли во дворцах Аравии и Индии. Не зря Руставели об этом письме говорит следующее: «Письмо, которое следовало хранить, а не рвать, как ненужное». Здесь сердце обращается к сердцу на таком же простом и выразительном языке, на каком один корабль в море призывает на помощь другой. Между тем Автандил отправляет Фатьме, как и следовало ожидать, «пестрый» ответ.

«Ты роза, а я, несчастная ворона, вообразила себя соловьем», — шепчет Фатьма Автандилу. Смотрите, как за-

помнилось ей, как запало в сердце неосмотрительно брошенное Автандилом слово: «ворона»!

В конце концов истекла и эта ночь, исполненная великих опасностей, открытий, слез страсти и радости...

Наутро Фатьма «подарила» желанному гостю множество одеяний и среди них «одежду для витязя», то есть рыцарское облачение.

Наряды раскинуты перед Автандилом, а Фатьма в соседней комнате хлопочет над приготовлениями к завтраку, однако все внимание ее обращено сюда: вот сейчас Автандил сам выдаст свою тайну, признается, кто же он на самом деле, и... догадка Фатьмы оправдается!

Очень скоро Автандил в самом деле выберет «рыцарское» платье — «снял купеческое платье и оделся так, как прежде... лев подобен стал светилу». Наряженный таким манером Автандил улыбается про себя, представляя удивленное лицо Фатьмы. И Фатьма не обманывает его ожиданий, хотя то, что она увидела, уже не было для нее неожиданностью. «Удивилась», — скажет Руставели, это значит, она сделала такое лицо, какое ждал Автандил, и сказала, что таким он ей нравится больше. «Усмехнулась: «Так лучше для тех, кто от тебя без ума».


Автандил перед зеркалом разглядывает себя, точнее — вспоминает себя прежнего, он погружен в мысли, платье напомнило о прошлом, которое он целый год скрывал («Солнцеликий этот витязь не ответил ей ни слова»). Он уже принял решение открыть свое истинное лицо, даже представляет, что будет с Фатьмой, когда она узнает, что он не купец, а спасет¹ Аравии. Может, он оттого и решил во всем признаться, что понял — от Фатьмы не удастся скрыть правду: «Чтоб спасти от смерти друга, он не знал пути иного» (перевод Н. Заболоцкого).

Они сели, позавтракали, выпили вина, Автандил в прекрасном расположении духа, не спешит открывать свою тайну. Чем дольше и напряженнее ожидание, тем сильнее будет эффект.

После завтрака он отправляется к себе, где спокойно засыпает («Сладко уснул»), ведь он провел бессонную ночь!

Весь день проспал. «Под вечер он проснулся» и послал слугу за Фатьмой. («Позвал Фатьму к себе»). Многие толкователи текста именно так прочли это место — и я полагаю,

¹ Спасет — военачальник.



прочли правильно. Однако в издании 1957 года мы читаем: «Фатъма позвала его». Очевидно, редакторы решили, что гость не может приглашать к себе хозяйку. Это им показалось неприемлемым с точки зрения этики. Они были бы правы, но лишь в том случае, если бы гость и хозяйка не любили друг друга. У любви же свой этикет! И мало что на свете может сравниться с этим этикетом своей алогичностью. Действительно, поразительна история Автандила и Фатъмы, словно читаешь роман XIX века.

«Приходи повидать меня, я один у себя», — и Фатъма бежит очертя голову, забыв обо всем, словно они не виделись целый год, хотя расстались лишь нынешним утром.

Автандил, «усадив ее рядом, дал ей ковровую подушку. Тень от шатров ресниц падала на сад роз». Здесь совершенно ясно, кто у кого в гостях. Автандил ведет себя не как гость, а как хозяин.

Разумеется, Автандил мог расстаться с Фатъмой, ни о чем ей не поведав, тем более, что она любила его и в купеческом обличье. Но именно потому, что она любила его и проявила незаурядные человеческие качества, что приютила Нестан и помогла Автандилу ее найти, он не мог не сказать ей всей правды и поступил с ней как достойный человек с достойным, если не считать, что Фатъма по своим душевным качествам вообще была ему ровней!

Но Автандил поведал Фатъме значительно больше, он признался ей, что любит Тинатин: «Лишь о ней вспоминая, я пылаю и горю». Этот факт говорит не только о благородстве самого Автандила, но и о личностной значительности Фатъмы, которая заслуживает того, чтобы ей говорили только и только правду. Автандил же и на этом не остановился, а ведь, кажется, куда уж дальше идти в отношениях с женщиной, которая тебя любит... Он просит Фатъму, чтобы она помогла ему. Видите, что происходит! Какой костер разжигает этот волшебник Руставели! Возможно, кто-то скажет, что это уже цинизм. Это и впрямь было бы цинизмом, поступком, ничем не оправданным и недостойным нашего любимого героя, если бы при этом мы не ощущали нечто странное и в то же время столь присущее человеку. — Автандил любил Фатъму, и это чувство на самом деле было «внезапной любовью», по точному замечанию Ш. Нуцубидзе. Можно сказать, что нигде и никогда Автандил не был так предельно искренен, как с Фатъмой.

Ее ответ — еще одно подтверждение благородства и достоинства:

«Славен бог! — Фатьма сказала: — Этой вестью животворной исцелил меня ты ныне от печали непритворной!» (Перевод Н. Заболоцкого).

Если можно представить себе женщину-рыцаря, то первая среди них — Фатьма!

Именно такие эпизоды, передающие тончайшие движения человеческой души, и делают поэму образцом высочайшего искусства. Именно такие детали особенно драгоценны, ибо в них — истинная поэзия, где происходит, говоря словами великого английского поэта, такое, что и не снилось мудрецам-философам.

Вышеприведенная сцена — лишь один из множества гениальных пассажей, которыми изобилует поэма. В мировой литературе не часто встречается такая щедрость, такой избыток света гения. Что рядом с этим отблеск мистической или схоластической догмы Псевдо-Дионисия Ареопагита, совершенно не влияющей на художественные достоинства поэмы, на ее истинную значимость!

Наверное, уже время вспомнить слова Фатьмы, с которыми она обратилась к освобожденной из Каджетской крепости Нестан:

**Слава богу, тьма исчезла, — говорила ей смиренно, —
Зло мгновенно в этом мире, доброта же неизменна.**

(Перевод Н. Заболоцкого).

Да, но это ведь повторение тех же самых слов, какие совсем недавно Автандил говорил Аснат:

Зло убито добротою, доброте же

нет предела.

(Перевод Н. Заболоцкого).

Да, это та же мысль, только выраженная иначе, еще один яркий штрих могучего мастерства Руставели — мы понимаем, что Фатьма и Автандил настолько близки друг другу, что мыслят почти одинаково. Действительно, для обоих в равной степени зло — потеря Нестан, и для обоих в равной степени добро — ее освобождение! Не случайно также и то, что только два человека в поэме — Автандил и Фатьма — упоминают сиротский приют, потому что по при-

роде своей и по призванию оба они — спасители, добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь...

Не будем забывать и о том, что Автандил начинает свои отношения с Фатьмой с игры, шутки, а кончает слезами:

**Для него часы прощанья были тягостно грустны,
Кровь и слезы проливали те, что с ним разлучены.**

(Перевод П. Петренко)

Так что если мы объявили Фатьму олицетворением зла, то придется признать тогда и то, что Руставели считает возможной победу добра лишь с помощью злых сил. А Руставели говорит очень ясно: «Зло убито добротой», то есть, добро достигается путем преодоления, повержения, поражения зла, поэтому зло в этой поэме надо искать в другом месте и подальше от Фатьмы.

«Зло убито добротой» — с этими прекрасными словами, наверное, согласились бы и каджи, потому что в поэме они не делают ничего такого, чего бы не сделали другие — не каджи. Препроводили в крепость найденную ночью в поле девушку (может, стоит подчеркнуть, что Каджетская крепость вовсе не означает тюрьму) и решили выдать ее замуж за царевича. Так почему же именно их считать злодеями, а не правителя Гуланшаро, к примеру, который поступил почти точно так же!

Зло в поэме — тот политический и моральный деспотизм, который, по словам одного исследователя, привел Нестан в Каджетскую крепость, и противостоит этому злу свободная воля ее спасителей. Вот она, новая, великая, поистине ренессансная идея.

Если бы сам Псевдо-Дионисий Ареопагит, облаченный в тигровую шкуру, был главным персонажем поэмы и искал бы Нестан-Дареджан, то и тогда трудно было бы поверить в наличие в поэме ареопагитического учения в таком полном виде, в каком нам пытаются это преподнести некоторые философы-исследователи.

В эпоху Руставели одним из самых интересных культурных явлений была придворная литература, финансируемый царской казной профессиональный союз с твердым уставом, обычаями и общей целью скрепленная организация, которой принадлежит огромная роль как в сохранении и раз-

витии бесценных древних традиций, так и во внедрении качественно новой светской литературы.

При грузинском царском дворе, так же как на Востоке и Западе, кипучую деятельность вели многочисленные профессиональные литераторы-переводчики, поэты, летописцы, прозаики. Для грузинского придворного писателя характерен своего рода универсализм — он одновременно и поэт, и переводчик, и прозаик. Эта особенность в последующие века превратилась в одну из традиций грузинской литературы.

Придворная литература эпохи царицы Тамар — значительный и влиятельный государственный институт, фундамент которого заложил еще Давид Строитель и который при Тамар с успехом продолжал свою миссию — на высочайшем уровне решал проблемы грузинской культуры.

Понятие «придворная литература» не сводится к хвалебным одам, являющимся лишь одной из составных ее частей наряду с прозой, переводом, историографией...

И все-таки самыми колоритными представителями придворной литературы являются одописцы. Поэзия этого жанра в ту пору отличалась ярко выраженным интеллектуализмом; здесь философская мысль, цитата, имя философа возведены уже в художественный прием. Это, по-видимому, стало таким узаконенным правилом, которого не удастся избежать даже Руставели, хотя по своим устремлениям он был достаточно далек от поэтики славословия. Руставели в определенном смысле все же скован правилами и традицией. Но интересно проследить, как гений отомстил сковывающей его схеме. Поглядите только, как он забавляется, как играет, как шутит, как свободно, прихотливо относится к тому грозному, надменному и пугающе серьезному понятию, которое зовется философской цитатой. Для Руставели не существует философского авторитета, он легко может собственную мысль выдать за китайское изречение и отправить в Китай на поиски «первоисточника» дотошного исследователя, считающего большой честью для поэта быть эпигоном какого-нибудь философа (как ни странно, но такие доброхоты всегда находятся!). Руставели может приписать собственную мысль другому, хотя бы Платону. Правда, он называет Псевдо-Дионисия мудрым, но по тексту невозможно определить, кого он считает наиболее мудрым — Ареопагита, купца Усама или сестру Парсадана Давар! В поэме невозможно вычитать имя писателя или философа, к которому бы Руставели испытывал «верноподданнические чувства». Я



употребил это словосочетание потому, что наших одописцев отличает именно это качество, их поэмы страдают удручающей интеллектуальной тяжеловесностью. Руставели на наших глазах разбивает оковы неудобной ему традиции. Но этот акт еще не завершен. Поэт еще бряцает оставшимися на запястьях обрывками цепей. Правда, благодаря этим обрывкам некоторым исследователям удалось объявить его философом, но одно — желание исследователей, и другое — та действительность, которая перед нами раскрывается в образах поэмы. Достоинство клетки для льва не в том, что она железная, а в том, что в ней сидит лев!

Подлинным украшением придворной поэзии того периода были два замечательных поэта: Чахрухадзе и Шавтели.

Даже эти два имени доказывают, что грузинская светская поэзия с самого начала вдохновлялась актуальной национальной проблематикой, питалась традициями грузинской литературы, являла собой феномен, противостоящий восточной, в частности персидской литературе. «Тамариани», к примеру, по справедливому замечанию некоторых исследователей, более зависимая от персидской поэзии, чем «Абдул-Мессия», интересна именно тем, что борется с этой зависимостью, точнее, преодолевает ее, выходит на свою собственную дорогу.

Споря с творческим методом Чахрухадзе и Шавтели, Руставели, будучи их соперником, испытывал и влияние, которое не могло не оставить доброго следа в его гениальном творчестве. Плотность руставелиевой строфы или, если можно так выразиться, — психологическая структура строфы, ее структурная завершенность, конечно же, выработаны общей школой вышеупомянутых поэтов. Правда, Руставели противостоит так называемому «книжному стихосложению», но необходимо заметить, что понятие «книжности» органично для его творческого метода, и можно говорить лишь о том (и тогда мы будем более точны), что в поэме Руставели отвергается именно такое «книжное стихосложение», какое было характерно для Чахрухадзе и Шавтели. В поэме Руставели народный шаири пропущен через сильный культурный обжиг «книжного стихосложения», и в результате получился совершенно новый, поднятый на качественно новую ступень руставелевский (а не народный) шаири, в котором усилена (а не просто «сохранена») полифоничность.

Если шаири Руставели чему-то действительно противо-

поставлен, так это в первую очередь народному шайри. Это легко подтвердить обычным, простым параллелизмом. Стих Руставели интеллектуален в широком смысле, это первое и основное условие, о котором следует помнить, начиная разговор о каком-либо сходстве такого рода. Его поэма рождена не фольклорными стимулами, а напротив, преодолением фольклорных стимулов (такова же позиция Важа Пшавела!). Музыкальный синтаксис, звучание руставелевского стиха вообще заметно отличаются от народного шайри.

Если авторы лирических поэм возвращаются в завораживающем кругу своей виртуозности, очарованные собственным блеском, то Руставели никаких границ не признает вообще. Каждый его образ рожден крылатым, поэтому ему необходимо пространство, чтобы до конца выявить свою сущность.

Та золотая клетка, которую Шавтели и Чахрухадзе приготовили своим сладкоголосым птицам, для Руставели неприемлема в принципе.

Каждая метафора у Руставели открыта на все четыре стороны и естественно сливается с пространством, и пространство входит в нее как составная часть. Метафора Руставели многоступенчата, многомерна, из одного волшебного ящичка появляется другой волшебный ящик — только он еще больше первого. И так до бесконечности. В каждой метафоре заключено сжатое пространство, упакованный для транзита, для дальней дороги мир, который затем разматывается, раскрывается на наших глазах и еще раз напоминает о том, что мерило поэзии — беспредельность.

Поэтический образ, метафора у Руставели сотканы, связаны из ассоциаций, живут и дышат ими. Эти ассоциации — философского, социального, политического, мистического, космического, религиозного, бытового, житейского толка — наполняют, укрепляют, обогащают, обостряют, продлевают до бесконечности нашу фантазию, ибо они смелее самой фантазии создают цепную реакцию из поэтических представлений, превращаются в стимул, в опору мечты.

В художественных сравнениях поэмы видно огромное знание повседневного быта народа, взаимоотношений, связей между людьми. Основа этих сравнений — жизнь, быт грузин, особенности нравов и обычаев. Как выразительна, к примеру, следующая картина: «Они возлежали вместе, как дружки после свадьбы».

Обернулся юный, руку Автандила взял рукой,
Сели рядом и рыдали, слёзы их лились рекой.



(Перевод П. Петренко).

Эта безмолвная сцена сама по себе уже поэма. Сколько сказано этим совместным плачем. Это радость родства душ, радость понимания схожести друг с другом, блаженное открытие, что каждый из них не «сирота душой»! Хлынувшие у обоих слезы — тому самое верное подтверждение. Нет ничего более выразительного, чем согласное молчание двух родственных душ!

Так же величественно прочувствованное поэтом и переданное с необыкновенной силой молчание мира, когда Автандил мысленно беседует со светилами. Это, если так можно выразиться, песнь безмолвия, таинственное излучение человеческой мысли в окружающий мир, и поэтому эта песнь, эта воплощённая в слове мысль доступна всем и всему: человеку, воде, дереву, камню, зверю и птице...

А вот еще удивительный пример передачи душевного порыва, точного выражения состояния духа:

Дева тотчас удалилась. Я задумался устало.
И царица предо мною в сновидении предстала.
Вздрогнул я и пробудился, и ее как не бывало.
Вспоминая голос милый, я уже не спал нисколько.

(Перевод Н. Заболоцкого).

Вспомним народный стих: «Среди ночи ты вспомнишь-ся мне, сажусь я и плачу».

Даже исходя лишь из этого маленького фрагмента, можно с полным основанием говорить о поэме как о глубоко психологическом произведении. Разве можно оставлять ее в тесных рамках рыцарского романа и не рассматривать как почву и стимул для возникновения современной психологической прозы?!

Руставели вообще не признает рамок. То, что в западном рыцарском романе считалось характерным признаком этого жанра и важным качеством рыцарства, в «Вепхисткаосани» звучало своеобразно, как выражение духовных устремлений нашего народа. Например, наставление «Кто себе не ищет друга...» в романе Кретьена де Труа должен

помнить рыцарь, по мнению же Руставели это следует помнить всем!

Руставели пишет так, как до него не писал никто, он противостоит всем, и благодаря этому противостоянию он всем и принадлежит. Его герои живут и действуют так, что полностью отличаются от всех известных ранее героев. Таризл посылает в подарок Нестан вуаль, тогда как мы привыкли к безмерности даров не только в восточной, но и в средневековой западной литературе. Я позволю себе высказать одно соображение, хотя имею достаточно оснований говорить об этом более решительно: не исключено, что здесь Руставели проявляет своего рода иронию в адрес бытовавшей в поэзии той эпохи «подаркомании», нечто подобное тому, что впоследствии сделал Сервантес, пародируя рыцарский роман...

Из текстового потока поэмы несколько слов выделяются с особой четкостью: огонь! слеза! тигр! кровь! солнце! Они вспыхивают вдруг, подобно выпрыгнувшей из воды рыбе, чтобы еще и еще раз напомнить нам о том, что могучие стихии поэмы наполнены жизнью.

Поэма настолько гибка и упруга, что напоминает движение живого существа. О «Вепхисткаосани» можно сказать словами самого Руставели: «В ней соединялась мягкость тканого и твердость кованого». Поэма так наполнена поэзией, что исчезает грань между формой и содержанием, создается ощущение абсолютного единства формы и содержания.

Ее единая мелодия — упругое пластичное тело, существующее словно само по себе, независимо от всего, его можно коснуться рукою, кажется, даже можно создать музыкальную партитуру этой мелодии независимо от поэмы. Но это так лишь на первый взгляд. Музыка и слово здесь связаны навечно волею гения, это не сямские близнецы, но соединенные одной общей жизнью, рождающиеся один в другом феномены.

Существуют, очевидно, условно простая, внешняя мелодичность и мелодия, музыка тайная, скрытая, внутренняя, которую человек сам должен открыть для себя, обрести, как ищут и обретают наперсницу души, то есть свою поэзию в этой сокровищнице, ту самую, которая не поддается никакому логическому толкованию. Здесь безраздельно властвует чувство, и если ты чувствуешь, значит, понимаешь! Эта мелодия прямо пропорциональна поэтическому слуху читателя — чем острее и чутче слух, тем глубже постигает чи-

татель эту музыку, тем глубже и богаче, соответственно, и мелодия поэмы. Эта мелодия пленила и обогатила слух народа, подобно материнской колыбельной, услышанной в раннем детстве, растила и воспитывала нас, эта мелодия не оставляла нас ни в радости, ни в горе, сопровождая каждого от рождения до смерти.

Таким образом, главной мелодией поэмы я бы назвал не внешнюю, специфически музыкальную сторону, а ту величавую поэтическую мысль, которая, зарождаясь в непостижимых глубинах художественности поэмы, подобно жизни — в недрах океана, постепенно крепнет, набирает силу и в совершенном виде являет себя нашим взорам, как мысль мыслей, слово слов, песнь песней..

Поэма наполнена живыми голосами: плеском волн, журчанием ручья, треском огня, конским ржанием... Слышится лай собак, шлепанье весел, крики сторожей — и все это вместе создает «звуковой пейзаж», помогающий еще четче представить внутренний мир произведения, на наших глазах живопись воплощается в музыке!..

С такими вечными, исполненными тайны явлениями природы, как движение небесных светил, течение рек, смена дня и ночи, волнение морей, Руставели сумел связать, соединить столь же тайные движения человеческой души и это великое единство превратил в новый мир, в мир качественно новых людей со своей моралью, своими обычаями, своим блеском, т. е. своей эстетикой, и подарил этот мир человечеству, как гимн его возможностям, как утешение, как слово поддержки, и главное, как надежду.

Руставели создал вымышленный мир, но никому не удалось создать ничего в большей степени грузинского, чем этот мир..

Гений Шота Руставели выявил подготовленность грузинского языка для крупных романических полотен, характеристики тончайших нюансов человеческой души, анализа всевозможных человеческих страстей.

Каждый народ читает, видит в родном языке азбуку тех эмоционально-образных представлений, которые создавал на всем протяжении своего существования и которые опираются на исторически сложившиеся отношения его с внешним миром, на психологическое восприятие и оценку явлений. Фантазия каждого из нас питается стимулами, исходящими из самобытной поэтичности родного языка; ни один язык, кроме родного, не в силах явить человеку таких поэтических виде-

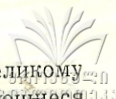
ний и образов — родной язык превращает человека из биологического существа в творца. Человек, говорящий, мыслящий или пишущий на родном языке, уже сам по себе творец, он уже мыслит образами, каждое слово для него действительно художественный образ, возбуждающий определенные слуховые или зрительные ассоциации. Человек, по сути, смотрит на окружающий мир и воспринимает его через окно родного языка. Язык формирует не только наши представления, но и наш характер. Можно прямо сказать, что нигде так полно не выразился и не сохранился общенародный характер, как в языке. Родной язык — это не что иное, как выразитель общенационального характера, природы народа. В определенном смысле, язык — это та же история народа.

Отношение разных народов к одним и тем же понятиям совершенно различно, так же различны их исторические судьбы, география, природа, вера, быт, нравы и обычаи.

Данте в «Пире» называет итальянский язык ячменным хлебом, то есть доступным для всех. Руставели написал свою бессмертную поэму именно на таком ясном, понятном для всех языке. Подняв на высочайшую вершину грузинский литературный язык, он превратил его в институт духовного воспитания народа, сделал основой национальной этики, морали, проповедующей верность другу, уважение к личности, дружбу между народами.

Руставели взял два одинаковых параллельных сюжета с почти одинаковой конфигурацией персонажей и придал этим двум словно бы одинаковым историям черты абсолютной неповторимости за счет глубоко психологического развития характеров. То, что достигнуто в этой поэме, как в произведении искусства, разумеется, не могло быть достигнуто путем идеализации героев. В лучшем случае две одинаковые полусферы разного цвета, сомкнувшись, создали бы круг, идеально заверченный мяч, — но в таком случае это был бы всего-навсего красивый предмет для бессмысленной забавы.

«Вепхисткаосани» — полифонический роман. Два сюжета с разных сторон одновременно пробивают себе путь в лабиринте поэтических образов и видений. Как во время прокладки тоннеля, дорога в поэме прокладывается одновременно с двух противоположных концов, навстречу друг другу стремятся две сюжетные линии, назовем их условно: «Аравия» и «Индия». За Автандилом и Тариэлом, первыми завязавшими в узел нити сюжета, следуют два многоцвет-



ных мира, две системы, две галактики, благодаря великому творцу оказавшиеся рядом, гармонически переливающиеся друг в друга, с такой силой наполняющие и обогащающие наши представления.

По мере сближения этих двух миров все очевиднее становится их различие. Грандиозные метафоры и образы, разумеется, нельзя считать признаками конкретной действительности, конкретной исторической ситуации или момента; тщетно пытались бы мы найти в них исторические аллегории. Как только это случается, то есть стоит нам связать художественный образ поэмы с какой-нибудь исторической личностью или событием, теряется то главное, что придает ей исключительность ощущения таинственности и непостижимости, иными словами, теряется поэтическая правда, та самая, благодаря которой в поэме нет ни одного немотивированного эпизода, и все то, что на первый взгляд может показаться алогичным, оказывается на поверку истинным величием поэта, оправданным удивительной поэтической логикой. что по сути определяет достоинство поэмы. Это логика естественного поведения человека, показ дотоле незамеченных нюансов человечности.

Один из таких нюансов — это часто упоминающиеся в «Вепхисткаосани» «пестрые (обманчивые, двусмысленные) речи». Случается, человек говорит одно, а думает другое. Здесь это человеческое свойство превращается в художественный прием, доведенный до совершенства. Поэтому в некоторых случаях нельзя принимать за чистую правду или за истинные мысли героя то, что он произносит вслух. Непременнo нужно попытаться понять и то, о чем он умалчивает. Это особенно важно хотя бы потому, что в некоторых случаях исследователи не отличают взглядов и позиции автора от его персонажей.

В «Вепхисткаосани» «пестрые речи» означают разговор двусмысленный, ложь, прикрытую пустыми словами. «Слушай меня, я говорю тебе правдиво, а не пестро», — обращается Автандил к Шермадину. Примечательно, что Тариэл считает недостойным себя говорить «пестро» (лживо). «Зачем мне вести с царем пестрые речи?» — но «пестро» беседует Тинатин с Автандилом, Автандил — с Ростеваном, Ростеван — с Автандилом и сам Тариэл — с Парсаданом: я, дескать, потому убил жениха Нестан, чтобы никому не уступать индийского престола. Парсадан проникает в истинную суть сказанного и отвечает также неискренно: если ты

хотел мою дочь, почему не сказал мне об этом — это ответ бессовестного человека, ибо Парсадану прекрасно известно, что Нестан и Тариэл любят друг друга...

**Царь сказал: «Не удивляюсь происшедшему ничуть:
Дочь любя мою, дерзнул он полё кровью захлестнуть».**

(Перевод П. Петренко).

Это тоже слова Парсадана!

«Пестрые речи» — дворцовый язык. Анализируя характеры героев, нельзя забывать об этом.

Динамичный сюжет придает этой «персидской», иначе — сказочной, вымышленной повести температуру живой жизни, прокладывает пути в глубины новых пространств, пробивает окно в глухой стене, ограничивавшей прежде наши представления, чтобы герои могли свободно дышать. На диво симметричные ответвления сюжета полноводными каналами пересекают неоглядные просторы поэмы. Сюжет в самом деле выполняет огромную роль в цветении этого волшебного сада поэзии.

«Вепхисткаосани» — компактная, лаконичная поэма, скорее всего, она короче того текста, которым мы располагаем сегодня (я имею в виду грузинское издание 1957 года). По справедливому заключению руствелологов, интерполяторы и переписчики не сокращали текст, не ужимали его, но расширяли и добавляли достаточно много, тем более, что подобные вставки считались делом похвальным.

«Длинная речь сказывается коротко. Тем и хороша поэзия», — учит нас Руставели. И мудрец, по его мнению, тот, кто может длинную речь выразить кратко. Подобный взгляд на мудрость был вообще распространен в средние века. Вот Арчил, к примеру, полагает, что Теймураз в отличие от Руставели не обладал этим даром краткости и поэтому не может считаться мудрым: «Хоть и щедр Теймураз, но мудрости он не обнаруживает».

Один из умнейших персонажей «Гамлета» (а там все необычайно умны!) Полоний говорит: «И так как краткость есть душа ума, а многословье — бранные прикрасы, я буду краток»¹.

Именно «душа ума» — тот свет, который источает поэ-

¹ Перевод М. Лозинского (т. 6, М., «Искусство», 1960, с. 49).

ма изнутри, который одинаково притягивает, призывает нас всех, ибо гений не делает различия между своими читателями, он принадлежит всем, и все принадлежат ему.

Успехи, достигнутые нашими учеными в сфере исследования и установления текста, привели к некоторым нежелательным результатам: у текстологов появилась претензия единолично определять также и художественную сущность поэмы. Это, конечно, не грех, как я уже говорил, гений принадлежит всем, но дело в том, что текстологи возымели желание «оперировать» поэму теми же инструментами и в том же кабинете, где прежде решали лишь насущные филологические проблемы.

Если существует логика научного текста и в ее существовании ни у кого не возникает сомнений, то параллельно с ней существует и логика поэтического текста, и это тоже факт признанный. И в то же время это единовременное параллельное сосуществование нельзя назвать мирным и безболезненным. Эти две «логики» не уживаются друг с другом, не могут приноровиться друг к другу, что, кстати, неудивительно. Типичным примером единоборства этих двух «логик» можно назвать случай разночтения одного из фрагментов поэмы. Вспомним сам фрагмент: Тинатин приказывает Автандилу отправиться на поиски неизвестного витязя. Прежде чем выполнить приказ и отправиться в путь, Автандил, вернувшись в свои владения, говорит верному слуге Шермадину:

Шермадин, — промолвил витязь, — повинюсь чистосердечно,
Виноват я пред тобою: ты служил мне безупречно,
Я ж, любовь мою скрывая, тосковал и плакал вечно.
Ныне я моей любимой обнадежен бесконечно.

(151)

Тинатин меня пленила, и нарциссы в день печали
На заснеженные розы слезы жгучие роняли.
Не хотел я, чтобы люди о любви моей узнали,
Но теперь слова надежды скорбь мою уврачевали.

(152)

Мне царица повелела: «Тайну витязя открой,
И, когда назад вернешься, буду я твоей женой.

За другого я не выйду, будь он райской купиной!»
Речь ее — бальзам для сердца, истомленного тоской,

(153)

(Перевод Н. Заболоцкого).

Этот эпизод именно так читается в грузинском издании 1957 года и во всех мне известных изданиях, кроме Вахтанговского. Все исследователи, поддерживающие именно этот вариант, считают, что средняя строфа (152) помогает смысловой связи других двух строф (151, 153). В издании же Вахтанга VI этой строфы нет вообще, что считается его изъяном. Как видно, Вахтанг посчитал ее добавлением, ненужной вставкой и, по моему глубокому убеждению, был прав.

Если не учитывать в данном случае отношений между собеседниками Автандилом и Шермадином, если не учитывать характера каждого из них, тот моральный, этический или, если угодно, даже кастовый (рыцарский) кодекс, соблюдать который обязаны оба (в особенности Автандил!), если не принимать во внимание тогдашних особенностей отношения рыцаря к возлюбленной и к понятию любви вообще, тогда действительно эта средняя (152) строфа покажется необходимой, но если учесть все вышесказанное, что в общем-то недопустимо не принимать во внимание, тогда еще раз придется подтвердить прозорливость Вахтанга VI и изъять ненужную строфу из текста.

В данном случае Вахтанг обнаружил глубокое понимание одного из первейших писательских свойств Руставели: характерный для него максимальный лаконизм, кроме того, Руставели предельно точен в психологическом построении характеров, твердо следует художественной, поэтической логике, внутренним закономерностям произведения.

Разве Автандил не знает, что Шермадину известна история его любви к Тинатин? Разве это для кого-то в Аравии тайна? Однако никто, и даже сам Шермадин, никогда не слышал об этой любви от Автандила. У рыцаря ни разу не сорвалось с уст имя любимой, ибо это не допускалось, запрещалось рыцарским кодексом. В западноевропейской куртуазии одной из самых суровых провинностей для рыцарей считалось открыть имя возлюбленной!

«Тот, кто истинно полюбит, ото всех любовь таит, —
говорит Руставели, — вдаль страдания уносит, одиночест-



вом сокрыт... Надо скрыть любовь, чтоб люди не нашли ее примет» (перевод П. Петренко). Мы все помним восклицание Автандила: «Боже, помоги мне скрыть любовь мою!». И также помним роковое молчание Таризэла на совете, когда решалась судьба Нестан, а следовательно, и его собственная участь. Но он не признался, что любит Нестан, и не мог признаться — не только потому, что она ему это запретила, но еще и потому, что он был настоящим рыцарем и предпочитал умереть, но не выдать имя возлюбленной.

«Повинюсь», — говорит Автандил, но он уверен, что Шермадин поймет и простит его. Знает он также, что Шермадину, как и многим другим, известно имя его возлюбленной. Можно сказать, Тинатин — «официальная возлюбленная» Автандила. Вот что она сама говорит ему: «Ты мой миджнур, это не только пустые, а истина». И Шермадин никогда не простил бы Автандилу, если бы тот открыл имя возлюбленной, то есть если бы все случилось наоборот, а не так, как случилось. «Повинюсь!» — мы не должны забывать, что это говорит Автандил, мастер «пестрых речей». Эти слова не нуждаются в уточнении; разве нужно объяснять, кто велел Автандилу найти неизвестного витязя, неужели Шермадин столь непонятлив — кто еще мог дать Автандилу подобное поручение? Таких людей в Аравии двое — Ростеван и Тинатин. Но ведь Автандил говорит, что приказала мне та, ради которой я лью слезы, которая сказала мне: «За другого я не выйду!». Что же тут объяснять и уточнять? Нам остается лишь с сожалением констатировать тот факт, насколько экономичнее и разумнее пользовались словом в старину...

Как невозможно настроить музыкальный инструмент, не обладая музыкальным слухом, так же невозможно установить поэтический текст (как, впрочем, и научный!), если не обладаешь слухом поэтическим...

Вахтанг потому и убрал из текста 152-ю строфу, что прекрасно знал, прекрасно чувствовал особенность руставелевского письма, слышал единую мелодию поэмы. Без указанной строфы этот маленький фрагмент вдруг приобретает глубокий подтекст, получает как бы еще одно измерение. Он действительно как айсберг, скрывающий большую свою часть под водой. Только не будем прикреплять к нему ярлык, подтверждающий, что перед нами айсберг!.

Два мощных столпа, две творческие идеи, на которых стоит «Вепхисткаосани», — это поиск и обретение.

Вслед за одним известным знатоком европейского рыцарского романа, назвавшим «Тристана и Изольду» самым «морским» романом средневекового Запада, мы можем сказать: «Вепхисткаосани» — наиболее «морское» произведение в грузинской литературе!

Пожалуй, самый явный символ в поэме — море. Именно с морем связана идея поиска, выполняющая роль мотора, приводящего в движение сюжет.

Здесь герои ищут друг друга и обретают самих себя: «Они нашли то, что искали».

Море встречает читателя на первых же страницах поэмы: «Царской щедростью и лаской привлеки к себе народ, помни: море не иссякнет, расточая бездны вод» (перевод Н. Заболоцкого). Впоследствии море появляется в различных обстоятельствах и в разных видах: иногда в том же качестве, что и остальные атрибуты географической среды поэмы — лес, поле или горы; порою как часть сложной многоступенчатой метафоры, вернее — не часть, а основа. Вот пораженный любовью, словно разрядом молнии, Таризэл лежит, окруженный слугами: «Домочадцы сидели вокруг меня, подобно гребцам в лодке». Ассоциация, возникшая у Таризэла, естественна для амирбара — то есть адмирала флота, кем он и являлся. Ведь тогда корабль двигался с помощью сидящих в два ряда гребцов. В этой метафоре движется все, ее так и хочется назвать «движущейся метафорой». А движение, в свою очередь, способствует выявлению второго значения метафоры, более обобщенного и сокрытого: этот корабль переносит Таризэла в другой, новый мир, и этот новый мир зовется любовью.

Море в поэме, можно сказать, у себя дома, и автор ее видится человеком, на берегу моря родившимся: с морем связаны и слиты его мысли и мечты о дальних странах, о полных приключений и опасностей путешествиях; мы видим морские гавани, лодки, корабли, видим пиратов, которые устаивали на носу своих кораблей острый лемех плуга, служивший средством нападения. («Вот корабль с широким флагом показался сквозь туман; На носу его — с железным наконечником таран». Перевод П. Петренко). Встретить грабителей в открытом море было страшно, поэтому особенно высокой кажется купцам-путешественникам мачта с развевающимся на ней пиратским флагом, закрывающим в их помраченных страхом взорах весь небосклон...



Море — тот ориентир, который люди, отправляясь в путь, выделяют особо: «Ступай на восток, иди вдоль берега моря». Человек стремится быть все время поближе к морю, как к доброй стихии: на берегу моря он охотится, разжигает костер, проводит ночь. («Они убили козу и потащили за собой, развели костер на берегу моря...»).

Если бы сам поэт не был так прочно связан с морем, он бы не смог создать такого блистательного образа: «Я вошел в море, войны встретили меня, подобно волнам».

И самое главное, конечно, то, что море связано в поэме с поисками Нестан.

Правда, море в поэме — мир, представленный реалистически (не упустил глаз поэта даже песчаной кромки берега, поэтому так внятно слышим мы, как хрустит песок под ногами моряков и караванщиков). И все-таки море окружено явной таинственностью: Нестан исчезает в море («Там, где пуп моря»), солнце тоже опускается в море. Знаменитый художественный образ Руставели — «солнечная ночь» — в этом случае — обобщающий, символический образ идеи, движущей всем произведением, по существу заключающей в себе главную мысль произведения: найти потерянное в ночи солнце и вернуть его, иначе говоря, победа добра над злом!

Таким образом, теологическое клише в этой поэме приобрело следующее поэтическое содержание: солнце скрылось, поглощенное морем, мир погрузился во мрак, но сердце и разум человека знают, что солнце прячется где-то во мгле, значит, эта мгла солнечная! Затерянное в ночи солнце ищут герои поэмы — Тариэл, Автандил и Придон. Поиски солнца — цель значительно более величественная, чем поиски возлюбленной, или, лучше сказать, Руставели отождествляет поиски возлюбленной с поисками солнца. Скоро это найденное солнце или высвобожденное из ночного мрака светило ярко осветит лица героев, и нас осенит мысль, что они для того искали солнце, чтобы найти и увидеть самих себя.

Вот та грандиозная поэтическая мысль, которая поставила поэму Руставели в один ряд с величайшими творениями Ренессанса.

«Солнечная ночь» — это теологическое клише в ней приобретает еще и другое значение, но об этом ниже.

Раз уж речь зашла о море, я хочу обратить внимание читателя на одно гениальное слово. Да, и одно слово может быть гениальным, если оно использовано точно в свое время и в подобающем месте, особенно если оно может заменить

целое повествование. Это слово «наскучило» из фразы Тариэла: «Плавание по морям мне наскучило, потому я вернулся к берегу». А ведь море для Тариэла так же, как и шкура тигра, — олицетворение Нестан, потому нет для него ничего более поэтичного, чем море! И всё же именно он произносит это слово «наскучило». Едва он произносит это слово, как тотчас к морю возвращается его обыденность. В нашем воображении немедленно возникают лица моряков, утомленных монотонностью будней, воспаленные от непрерывного напряжения глаза их предводителя, скудная однообразная трапеза, ладони, стертые веслами. Вот что может выразить одно слово. Вот какого максимального эффекта достигает Руставели одним-единственным словом...

Авторизованный перевод А. БЕСТАВАШВИЛИ

Окончание следует



„Природе только слово соразмерно...“

ПОЭТ идет по земле. Иногда шаг его, при-меняясь к причудам столетия, оказывается слишком велик:

...Как родина моя мала —
Один лишь перелет!

(Перевод Е. Винокурова)

Тогда трассы междуна-родных авиалиний — вены современного человечества — становятся на время его приютом, а салон — ма-ленькой частичкой, капель-кой крови, несущей через материки всю неповтори-мость своих предтеч — ро-да и языка.

И тогда иной, планетар-ной геометрией обрастают образы. И огромный, косми-ческий ветер связывает и разъединяет слова:

Вращается пустыня.

Небеса

Свисают вниз мостами

разводными.

Над волнами печальными,
земными —

Абашидзе Г., «Избранная лирика». М., «Советский писа-тель», 1985.

Вверх — пирамиды.
Вверх, как паруса.
(Перевод М. Луконина)

Нет, он не турист, не праздный экскурсант. Его цель в этом почти хаотиче-ском движении по миру, где церковь Покрова на Нерли сменяют неоновые буквы аэропорта имени Марко Поло в Венеции, а таинственное подземелье „усыпальни-цу фараона — зрелище пожара на таежной буровой, его цель в этой смене мест и событий — выделить и осмыслить камни природы и камни истории, выделить и соотнести их с родными камнями многострадальной и многославной грузинской земли. Все из нее выходя-щее, все, и сам он, восхо-дит к ее сердцевине и вновь возвращается к ней. Стихо-творение «Ночь в хижине Важа Пшавела», первая строфа:

В темный овраг провалилось
Чаргали.

Как же отсюда смотрел он на
солнце?

Еле заметно в глубоком
провале

Узкое, словно бойница,
оконце.

(Перевод Н. Заболоцкого)

Г. Абашидзе словно отвер-гает что-то в легенде о ве-ликом Важа, поэте неразга-данной мощи, быть может, так и не воспринятой в пол-ной мере последующими по-колениями грузинских поэ-тов. Во имя истины Г. Аба-шидзе прикасается к очагу, согревавшему Пшавела, во имя истины пытается пой-мать солнечный луч, загля-дывая в каменную щель ок-на. Быть может, еще до

этого испытания — реальностью написаны им строки:

Мир охвати умом и чувством,
Как ни велик его объем,
Качающийся мост — искусство,
Поэзия — игра с огнем.

(Перевод В. Соколова)

Быть может. Не знаю. Но,
как бы ни были эффектны
эти романтические постулаты,
неизмеримо значительнее
звучит зачин стихотворения
«Поэзии»:

Как будто смерть сама среди равнин

Окликнула меня ночным глаголом...

(Перевод Е. Винокурова)

Григол Абашидзе, говоря
его же словами, «весь обратившийся
в мудрость и зренья», пишет стихи
о самом трудном, самом неизъяснимом
— о родине. О, теперь шаги его
не превышают обычных, человеческих,
пристальное зрение не упускает
деталей сиюминутной жизни,
а подошвы глубоко ощущают
изъяны земли.

Как мало сделал я!

В душе усталость.

Я в этом признаюсь не ради фраз, —

Ведь то, что раньше морем мне казалось,

В ладонях умещается сейчас.

(Перевод Е. Евтушенко)

Вот оно, время подлинных прозрений,
время соразмерности духа,
время кровного осознания истории,
сопричастности ее великим драмам,
утверждения врожденного чувства
ответственности перед природой и людьми:

Грянула буря. На празднестве

Хаосом крови пролился уют.

Я, ослепленный, метался

на бойне,
Где убивают, пока не убьют,

В белой рубашке опрятного детства —

Шел я, теснимый золой и огнем,

Не понимавший значенья злодейства

И навсегда провинившийся в нем.

(Перевод Б. Ахмадулиной)

Не сам поэт, его герой
Турман Торели произносит
эти слова, но поистине:

Не утверждайте, что придет конец.

Присутствуем мы вечно при начале.

Чье сердце разорвется от печали,

Когда не будет на земле сердец?

(Перевод А. Вознесенского)

Весь абсурд нависшей над человечеством катастрофы увенчан знаком вопроса в последней строке этого стихотворения. Уже не трагедия отдельного народа, не борение добра и зла, не осуждение нового Герострата заставляет поэта взывать к миру, катаклизм, напроочь отрицающий всякое осознание, способный в считанные минуты испепелить не только человека, но и вообще генетику человеческого опыта, — вот истинная причина призыва.

И все же:

Есть любовь изначальная,
Оправданье вселенной...

(Перевод А. Тарковского)

Сколько тепла и безмолв-
ной правоты в этих простых
словах, как и вообще в сти-
хах о любви, помещенных в
этой книге. Образ любимой
женщины приходит в сти-
хи Григола Абашидзе все-
гда неожиданно, но всегда
как осмысление самой жиз-
ни:

Если б тебя не было
Рядом с моей судьбою —
То для какого неба
Я б возводил соборы?

(Перевод А. Вознесенского)

«Тобою мысль о смерти
смята!» — восклицает поэт
в другом стихотворении.

Чувство любви, пронизы-
вающее книгу, — многоли-
ко. Вообще по своему пафо-
су — это книга родства,
книга дружества, исповедь
человека, сердечно привя-
занного к родной земле и
вместе с тем открытого ми-
ру, доверяющего глаголам
иных народов:

Я услышал твой зов
издалёка,
Как олений раскатистый крик.
Есть у каждого цель и
дорога,
Есть родной соловьиный
язык.

(Перевод С. Куняева)

Но вместе с тем эта кни-
га — и просто исповедь зрело-
го, прошедшего жизнь муж-
чины перед самим собой, ис-
поведь, полная горьких при-
знаний, полная осознания
невосполнимых утрат:

Стынет воздух ночной,
ледяное питье,
И листва не качнет тишину...
О, как время проходит:
уйдет и мое —
Лишь бессильно вдогонку
взгляну...

(Перевод Ю. Ряшенцева)

Предчувствие надвигаю-
щейся старости, раздумья о
несвершенном, стихи об
этом — из самых затаен-
ных, самых интимных. Иные
из них — суд последней
инстанции, кровный и бес-
пощадный:

За годом год, как строчка
за строкой,
Стремительно промчались,
пролетели.
Не тихой смерти ждал я,
чтоб в постели
Рассталось тело бренное
с душой.

И вот уже кончается дорога,
Свеча моей надежды оплыла.
Нет. Не сбылось...

(Перевод А. Межирова)

Идет по земле поэт Гри-
гол Абашидзе. И куда бы
ни заносила его судьба, и
пески пустыни, и мостовые
Европы в конце концов сме-
няются тропами Родины, и
сердца друзей раскрывают-
ся ему, и жаркие маки гор-
рят у него под ногами, и
звучат на многих языках
народов его полные муже-
ства стихи:

Закроют силой, — ты глаза
раскрой:
Нам видеть мир дано лишь
раз, не боле —
Деревья, женщину, закат,
прибой.

Закроют силой, — ты глаза
раскрой,
Исполни долг пред миром и
до боли,
До слез гляди. Пусть, надавив
рукой,

Закроют силой, — ты глаза
раскрой,
Нам видеть мир дано лишь
раз, не боле.

(Перевод Н. Волпиной)

Владимир НИКОЛАДЗЕ.

„Каждой весной“

ЕЩЕ раз о многом говорит известный грузинский поэт Хута Берулава в новой книге стихов и поэм, включившей в себя произведения разных лет. Разнообразна тематика книги. Здесь — и взволнованно-патетические, патриотические стихотворения, и трепетные лирические раздумья о судьбах Родины, и философские размышления о «месте поэта», о современниках и предшественниках, прославивших родную землю. Да, новая книга Х. Берулава — книга раздумий и размышлений.

Поэтическое кредо Х. Берулава отображено в стихотворении «Я — летописец». Х. Берулава сумел поновому раскрыть роль, задачу поэта в нашем бурлящем противоречиями мире. Недаром летопись поэта прочтут «удивленные» потомки. Заметим — не восхищенные, не огорченные, а именно «удивленные». И действительно, жителям счастливого будущего трудно будет понять — какой был смысл нагнетать страх, когда «под небом места много

всем». Но это — лишь одна грань стихотворения. Поэт утверждает, что его летопись, без излишних эмоций и красноречия, поведает потомкам только «правду». Четырехкратное повторение слова «правда» окрашивает стихотворение в особые тона. Оно как бы служит призывом также правдиво ответить на суровые как по отношению к самому себе, так и к современникам вопросы: «...Как служил народу своему?».

Какие благородные

деянья

Ты через свой недолгий век
пронес?

А жизнь тебе была как

подаянье

Или была как подвиг?

Вот вопрос.

Позиция поэта четко очерчена. Жизнь должна быть подвигом. Равняться надо на тех, кто опережает время.

Творчество Х. Берулава насквозь проникнуто горячим чувством к родной земле. Наверное, нет уголка в Грузии, не замеченного поэтом; большое сердце патриота хранит в себе красочные предания древности,



тонко связывая их с чувством благодарности современника (поэма «Сказание о рождении Тбилиси»); поэт восхищается веселое радушие свадебного торжества (стихотворение «Свадьба в Квирикети»), красоты родной природы («Рица»). И, конечно же, образ великого «крестьянина пшавского, и мудреца, и охотника, и поэта» — Важа Пшавела — неотделим от грузинской души. Глубоки и возвышенны строки поэта о Важа Пшавела:

Что зависть, ненависть,
навет перед любовью
вечной?
Ему случалось на пути
и пропасть перейти.
Храни ж его в душе своей,
зеленый ветер вешний!
Даруй нам, время, песнь
его и встречу впереди.

Лирическая, точнее, интимная сторона творчества Х. Берулава освещена мягким, как бы изнутри люющим светом. И все же образ любимой женщины немислим для поэта в отрыве от дыхания родного города. Даже описание горя юной покинутой женщины безысходно по сути: «...Все впереди. И любви и свиданий пора! Сегодня в Тбилиси весенние веют ветра».

Полон грустного обаяния лирический герой «Тбилисских серенад», но его любовные тревоги — своеобразная «светлая печаль».

его размышления — не фиксация и не анализ, а нечто среднее, покоряющее тонко уловленной гармонией.

Завершить короткий разговор о новой книге Х. Берулава, выпущенной издательством «Мерани», хотелось бы строками одного из лучших его стихотворений:

Знаешь, что такое счастье?
Это
Памяти народной эстафета,
Где передают друг другу
люди—
Сыновьям—отцы, и деды—
внукам—
Мужество твое и
правдолюбье,
Честность перед Родиной
и другом.

Так понимает поэт преемственность поколений, залог человеческого счастья.

Хута Берулава переводили много и многие. В основном крупные мастера русского поэтического слова. Однако не все переводы адекватны оригиналу, есть и очевидные неудачи. Думается, читатель со вкусом сам отличит плохое от хорошего, тем более, что некачественные строки — к счастью, редкое исключение в книге, которая называется «Каждой весной» и которую мы предлагаем вниманию любителей поэзии.

Владимир САРИШВИЛИ



КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ПРОИЗВЕДЕНИЕ прозаика и киносценариста, пишущего на русском языке, Л. Челидзе «Там, на отдаленной планете, или Тринадцать бросков из жизни Артема Гаспарова» («Литературная Грузия», №№ 2, 3 1986 г.) вряд ли можно назвать романом. Хотя в двадцатом столетии этот жанр претерпел изменения, стал более компактным, динамичным, отказался от подробного, скрупулезного жизнеописания персонажей, широко открыл двери многим структурным и формальным новшествам, тем не менее роман и сегодня не может существовать без эпической всеохватности, без глубокого проникновения в суть вещей и явлений действительности, без исследования причин, двигающих общественные процессы, и анализа побуждений, действий, поступков людей, участвующих в этих процессах. Роман был и остается широким полотном, отражающим характерные черты эпохи, независимо от того, в какую форму он воплотится.

С этой точки зрения «Там, на отдаленной планете...» нельзя назвать романом, скорее это — повесть, состоящая из фрагментов-эпизодов из жизни главного героя и лирических отступлений. Тут же отметим, что все внимание автора уделено главному герою, остальные персонажи существуют лишь постольку,

поскольку их судьбы соприкасаются с жизнью героя.

Если изображаемый автором герой представляет собой клубок недостатков и низменных устремлений, если главенствующими чертами его природы являются расчетливость и приобетательство, если к тому же он идет на преступления, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, то писатель не имеет морального права не осудить его, стоять на позиции во всех смыслах неприемлемого всепрощения, чуждого всякому художнику, в котором теплится хотя бы искра гражданственности.

Восприятие реальности у автора во многом чисто внешнее, нет проникновения в глубь явлений и характеров. Вольно или невольно автор «наклеивает» на свой персонаж отдельные буафорские штрихи, как, например, свойственные герою банальные и пошлые выражения: «деньги не пахнут», «хочешь жить — умей вертеться», «умирать, так с музыкой» и т. п.

С некоторым нездоровым воодушевлением автор воссоздает образ неумемного прохвоста и неполноценного человека, без внутренней логики, на «пустом месте», как бы в беспорядке, «накидывая» на свой персонаж случайные факты повседневности, упрощенные бытовые происшествия. Надеть на героя маску шута и проходимца, а потом почти цинично любоваться делом рук своих — занятие явно неблагоприятное.

Неприглядную картину представляет все окружение Артема. В нем нет никого, кто хотя бы чем-то мог порадо-



вать «взор» читателя. Чего стоят одни характеристики торгующих родичей и знакомых «гениального» соскакивателя с трамвая одноногого Рубена... Читая их, трудно заподозрить автора этих характеристик в добром отношении к объектам изображения, как бы он ни пытался своей якобы сердечной интонацией сделать заявку именно на «просветленные» воспоминания детства и юности. Тбилиси сравнительно недавнего прошлого помнится и другим: иные были ситуации, жителей города объединяли иной интим, общие радости и невзгоды, и не было среди них только хороших и, тем более, только плохих...

В чем же дело? Откуда эти деформированные, искаженные картины, далекие от действительности, в чем причина подобного очернительства? Может, в том, что у автора нет того главного, значительного, что следует сказать читателю? Или он не смог выразить его? И это обернулось острой идейной и художественной недостаточностью...

Автор в своей личной позиции — индифферентен. Ему будто бы все равно о ком говорить и что говорить, он выдумывает истории, пишет как бы бездумно, а это накладывает свою печать на подлинность произведения.

Интернациональный дух всегда присущ советской литературе. Он составляет ее основу и сущность, является одним из главенствующих и определяющих признаков. Любой отход от него приводит к потере чувства реальности и в конечном итоге к идейному выхолащиванию, художест-

венному опустошению произведения.

Дружба советских народов нерушима и вечна, и никому не позволено посягать на те воистину святые чувства, которые объединяют в нашей стране людей разных национальностей. Ни устно, ни печатно никто не имеет права клеветать на них, пытаться выдать заведомую ложь за безобидный юмор, когда речь идет о самых сокровенных, самых серьезных и возвышенных вещах.

Автор произведения «Там, на отдаленной планете...» щедро наделяет своих персонажей недостатками и проявляет прямо-таки плюшкинскую скупость, когда дело касается положительных качеств. Разумеется, изображать социальные пороки, частнособственнические устремления, которые существуют в жизни, никому не возбраняется. Даже наоборот. Борьба с ними, их осуждение, нетерпимость к ним — очень важная задача литературы. Она многое делает для искоренения общественных язв. Но когда, как в данном случае, автор хочет представить нетрудовые доходы, спекуляцию, различные махинации, стяжательство не как социальное зло, а как непоколебимую необходимость, то тут не приходится говорить об активной гражданской позиции, обязательной для писателя. Тем более обязательной, если он работает в жанре сатиры.

* Автор произведения «Там, на отдаленной планете...», несомненно, взялся не за свою тему и потерпел неудачу с точки зрения как идейно-

гражданских, так и художественно-эстетических позиций. Об этом свидетельствуют и многочисленные письма читателей, тот резонанс, который вызвала публикация у широкой аудитории. Горький опыт должен стать поучительным. Пе-

чатая произведение, надо с большей требовательностью подходить к его идейно-художественному содержанию, чтобы не тиражировать с этой точки зрения порочный опус.

Гурам ГВЕРДЦТЕЛИ

От редакции:

В №№ 2, 3 (1986 год) нашего журнала был опубликован роман Левана Челидзе «Там, на отдаленной планете, или Тринадцать бросков из жизни Артема Гаспарова».

Редакция получила отклики читателей, в большинстве из которых высказывается мнение, что опубликование романа неправомерно из-за ошибочной идейной позиции автора, проявившего примиренческое отношение к аморальным и частнособственническим явлениям. Особые возражения вызвало то обстоятельство, что в романе преданы забвению интернационалистские традиции, органически присущие советской литературе.

Редколлегия журнала обсудила с учетом мнения читателей названную публикацию и пришла к выводу, что замечания их справедливы. Соответствующее суждение об этом вынес также секретариат правления Союза писателей Грузии.

Редакция приносит читателям искренние извинения за допущенную ошибку и заверяет, что примет действенные меры для исключения подобных случаев впредь и улучшения в целом пропаганды идей интернационализма, дружбы народов средствами художественной литературы, так как видит в этом одно из главных предназначений журнала «Литературная Грузия».



Наталья ХОЛЯВКО

ВДОХНОВЕННАЯ МУЗЫКА „ВИТЯЗЯ“

Отобразить правду такой, какая она есть, может быть и хорошо, но лучше создавать правду.

Дж. Верди


НЕ ЧАСТО бывает, что жизнь произведения искусства начинается задолго до его подлинного рождения, задолго до того момента, когда оно обретет, наконец, свое более или менее совершенное воплощение. Хорошо это или плохо, но именно так обстоит дело с балетом А. Д. Мачавариани «Витязь в тигровой шкуре». Сочинение, написанное более 12 лет назад, долгое время ждало своего сценического воплощения. И все же неверно думать, что партитура «Витязя» смиренно проводила время в ящике композиторского стола, дожидаясь любви и доверия постановщиков. Музыка зазвучала. В 1982 году дирижер Вахтанг Мачавариани записал всю партитуру на пластинку, выпущенную фирмой «Мелодия», и тогда же исполнил сюиту из балета в Тбилиси и в Москве, в Большом зале консерватории с оркестром Центрального телевидения и радио.

И вот уже более пятнадцати представлений выдержал «Витязь» на сцене Ленинградского театра оперы и балета

имени Кирова. Специалисты успели обсудить работу балет-мейстера-постановщика О. М. Виноградова, публикация в журнале «Звезда» должно исполнителям, в прессе появились заметки, статьи о том, что спектакль помогает понять Руставели. Но досадно, что не во всех этих публикациях о музыкальном спектакле (!) музыке отводилось значительное место. Думается, мы вправе сказать, что именно музыка дает возможность прежде всего услышать Руставели, а услышав, — понять и почувствовать его духовные, этические основы. И, видимо, это не случайно, потому как трудно найти однозначную оценку этому сочинению, в котором, действительно, многое не является бесспорным.

Всякий раз появление на музыкальной арене нового произведения, в каком бы жанре оно ни было написано, вызывает споры, дискуссии, а подчас и сомнения — действительно ли сочинение соответствует нашему представлению о современности. Проблемы традиционности и новаторства, проблемы образного содержания и средств выражения, а также многие другие не только не утратили своей актуальности, но и приобрели особую остроту именно в последние десятилетия, когда несколько утих пафос увлечения техническими достижениями музыкального «авангарда» XX века. Сейчас композиторские поиски, касающиеся стилистики произведений, в большей части направлены на расширение, а зачастую — на изощрение композиторских приемов. И именно здесь возникает та ошибка, довольно частая, к сожалению, когда критерий современности того или другого сочинения сводится к оценке его технической оснащенности. А ведь нередко случается, что за формальным мастерством, за изощренной техникой скрывается бездуховность, что забывается тот момент эмоционального воздействия, усилению которого и призван служить весь арсенал выразительных средств. И поскольку здесь речь идет о конкретном произведении, хочется, насколько это возможно, оградить слушателей и исследователей музыки А. Мачавариани от формального к ней подхода.

Искусство не терпит повторений — нет смысла отстаивать истинность этой формулы. Оно немислимо без постоянного движения, обновления. И, имея это в виду, легко можно впасть в другую крайность, считая критерием современности произведения, например, злободневный сюжет, то есть то, что волнует нас в конкретный исторический момент и не имело значения ранее. Но представьте себе, что утра-



тила бы советская музыка без «Ромео и Джульетты», «Войны и мира» Прокофьева, «Анны Карениной» Щедрина или «Катерины Измайловой» Шостаковича. Проблема новизны в музыке — действительно очень сложна и неоднозначна. Это, прежде всего, проблема содержания и стиля в их временном аспекте. Отыскать и, что самое важное, выразить в музыкальном произведении тот момент общечеловеческого, который волновал и продолжает волновать людей на всех исторических этапах, во всех уголках земли, под силу лишь большому таланту. «Витязь в тигровой шкуре» создан, как известно, по мотивам одноимённого творения Ш. Руставели. Руставелевские герои — сильные люди, сильные и красивые в высшем понимании этого слова. Воспевание высокого этического начала, любви, верности, дружбы, способности к самопожертвованию — вот основные мотивы «Витязя». Любовь возвышает человека, придает ему силу, помогает пройти через все страдания.

Скажем прямо — проблемы эти сами по себе не новы. И композитор, воплощая их, не стремится поразить слушателя обилием новейших технических приемов, не выпячивает, не навязывает свои достижения, то есть на первый взгляд все как будто традиционно: находки в области ритма, идущие во многом от танцевальной стихии грузинского народа, использование полиритмических, политональных и других полисочетаний, элементы серийной, сонорной техники. Все это, если даже учесть, что музыка написана 12 лет назад, далеко не ново. Но у Мачавариани настолько своеобразно взаимодействие этих элементов, что возникают интереснейшие связи, которые не всегда заметны на первый взгляд, но поражают своей новизной и логичностью при более чутком рассмотрении. Алексей Давидович предстает здесь как не просто талантливый, но очень мудрый композитор. (Чтобы не быть голословной, скажу, что такие вопросы, как, например, ритмическая, а в особенности интонационная драматургия сочинения представляют необыкновенный интерес, и если не могут быть достаточно проанализированы в рамках небольшой работы, то, несомненно, должны привлечь внимание исследователей для более полного изучения).

«Говорить о музыке трудно. Это умеют только люди, обладающие особым талантом, — писал Д. Д. Шостакович. — Но все равно никакие, даже самые вдохновенные слова о музыке не могут дать представления обо всем ее неисчерпаемом богатстве, никакие слова не могут оказать на душу

слушателя того воздействия, которое производит сама музыка... А всякий разговор о музыке может только привлечь к ней внимание».

Привлечь внимание к музыке... Вот задача каждого, кто берет на себя ответственность, занимаясь изучением какого-либо сочинения. И нередко бывает, что говорить о той или иной музыке поначалу кажется вовсе не трудно. Действительно, зачастую не представляет особого труда проанализировать произведение с точки зрения композиции, музыкальной драматургии, характера развития образов основных действующих лиц, в особенности когда оно по своей яркости, логичности не противоречит естественным законам музыкальной композиции. Попробуем применить такой метод анализа к музыке «Витязя». На первый взгляд все, казалось бы, ясно: драматургия эпическая, внутри которой переплетаются другие мотивы — лирический, героический, философский. Нужно заметить, что эпичность ни в коем случае не исключает драматического элемента, того, что принято называть симфонизацией, симфоническим развитием, которое достигается тем, что здесь широко использованы и развиты лейтмотивные связи, и не только интонационные, но и тембровые, гармонические и даже ритмические. Говоря о музыкальных характеристиках героев, следовало бы остановиться на эволюции их внутренней жизни, которая осуществляется опять-таки посредством видоизменения лейтмотивов. Интересно проследить процесс взаимодействия основных тем и результат их взаимодействия. Следовало бы подчеркнуть, что в музыке очень ярко и выпукло отражены две образные сферы — негативная, сфера зла, и сфера добра. Ну и, конечно же, нельзя упустить возможность, чтобы не отметить использования в музыке достижений композиторской техники XX столетия.

...Сейчас трудно сказать, как и в какой момент возникло ощущение того, как настойчиво «сопротивляется» музыка балета Мачавариани такому методу рассуждения. Все то, о чем до сих пор шла речь, — есть та формальная схема, которая может быть применена, с некоторыми натяжками, почти к любому сочинению подобного рода. Как было отмечено, уже ко времени написания балета все это было не удивительно, как и то, что все средства выразительности должны быть подчинены раскрытию внутреннего состояния героев. Это, конечно, верно и должно быть в каждом сочинении, претендующем именоваться произведением искусства. Все



это верно и в отношении данного сочинения, но возникает вопрос — где же его индивидуальная ценность?! Где тот момент, та грань, которая позволяет говорить о незаурядности произведения?

* * *

Давайте вспомним основную идею балета — конечно же, это повесть о любви, воспевание любви, верности, дружбы, как высочайших человеческих чувств. Можно по поводу идеи говорить много прекрасных слов, но все они сходятся на одном — любовь возвышает. И, воплощая эту идею, музыка Мачавариани не просто отражает это высокое этическое начало, она сама становится его носителем, то есть она сама **возвышает**. В этой связи вновь приходит на память фраза из газетной заметки: «...прекрасная музыка композитора Мачавариани последовательно отражает сложный внутренний мир героев...». И здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой — когда музыка **отражает**, а когда она — **выражает**, что далеко не однозначные явления. Отражая или, грубо говоря, изображая в музыке те или иные страсти, эмоции, все усилия композитора закономерно направлены к тому, чтобы найти, выбрать из своего технического арсенала, а лучше всего, изобрести новые средства, которые бы с наибольшей достоверностью изображали нужный образ. И другое дело — когда музыка выходит на уровень **самовыражения**. Трудно достоверно сказать, как достигает этого композитор. Ведь творческий процесс — это далеко не простое манипулирование музыкальными средствами даже на том этапе, когда замысел уже сложился. Бывает так, что композитор в какой-то момент превосходит сам себя — в силу таланта, внутренней энергии или мастерства это происходит — трудно судить; несомненно одно, что именно тогда возникают страницы музыки, которые мы называем вдохновенными. И неужели здесь важнее говорить и спорить о новаторстве, традиционности или нетрадиционности выразительных средств?

Я ни в коей мере не хочу отрицать наличие в партитуре «Витязя» звукоизобразительных моментов. А. Мачавариани не стесняется использовать традиционные средства музыкальной звукописи в сценах охоты, битвы и других. Но поскольку более значительной и важной представляется выразительная, эмоциональная сторона музыки, хочется сделать акцент именно на этом ее качестве — на том, что воспринимается чувством, сердцем. Только тогда, услышав и



почувствовав, можно открыть для себя новые, иногда неожиданные подтексты, и прежде всего в драматургии.

Действительно, развитие сюжетной линии, а вместе с тем развитие образов находит свое отражение в музыке посредством лейтмотивов. Они постоянно изменяются, тема, впервые возникающая в «Застывшей фреске» и характеризующая любовь Нестан-Дареджан и Таризэла, в сцене его безумства звучит в многократном увеличении, в тембре струнных (а позднее — медных духовых) инструментов и приобретает характер отчаяния; или, например, первая тема Любви в процессе развития сильно динамизируется, становится драматичнее, изменяется интонационно и, благодаря своему новому качеству (игре малых и больших секунд), сближается со второй темой. Принцип тематического развития проведен в данном сочинении очень последовательно, но это все же внешняя сторона вопроса. Думается, что размышляя над проблемами драматургии «Витязя», следует провести четкую смысловую грань между уровнем развития действия, сюжета и уровнем развития идеи.

Несомненно, что «Витязь» — хотя и симфонический балет, но прежде всего балет, где музыка обязана выразить содержание сюжета, суть идеи произведения, иначе говоря, создать действие. Музыка Мачавариани в этом смысле очень конкретна и, более того, дает возможность балетмейстеру исходить из музыкального материала, «подсказывает» новые хореографические решения, находки. Но выполняя эту функцию, музыка в «Витязе» несет также основную смысловую нагрузку. Именно она становится проводником и носителем идеи произведения. И когда мы идем дальше, вслед за музыкой, совершенно очевидным становится не просто видоизменение тематизма, а его смысловая трансформация, переосмысление. Во втором акте есть сцена — «Рассказ миджнуров». По сценарию здесь происходит следующее — Автандил отыскал Таризэла и они рассказывают друг другу о своей любви и страданиях. Здесь в музыке развивается тема Любви, которая использована в новом качестве, — перестав существовать только в отношении Нестан-Дареджан и Таризэла, она становится здесь темой Любви вообще. Следующий номер — «Квартет» — самое драгоценное место спектакля (не музыки в отдельности, а именно спектакля!), так как здесь находит свое полное воплощение и завершение идея.

Квартет возникает, когда на сцене появляются видения Нестан-Дареджан и Тинатин. Витязи и их возлюбленные танцуют вчетвером. В это время в оркестре звучат обе темы Любви. В этом контексте они выражают одно и то же, причем основную смысловую нагрузку берет на себя первая тема, впервые звучащая в Прологе. Именно она приобретает символическое значение, выражая категорию любви как общечеловеческую¹.

Неоспоримы и эмоциональные качества Квартета — выразительность и экспрессивность звучания этого эпизода настолько велики, что он воспринимается как настоящая «Симфония любви». Именно здесь (по композиции — точка «золотого сечения») и именно так воплощается то высокое этическое начало, о котором шла речь. Но следует заметить, что только одной музыки в этом случае оказалось бы недостаточно, и тут очень помогает сценическое решение — сам факт квартета на сцене. Такое органичное единство музыки и хореографии, вдобавок ко всему прочему, позволяет говорить об особой ценности именно данного эпизода. Это торжество любви, торжество, несмотря на страдания. Впереди еще жестокая битва со злыми и уродливыми каджами, освобождение плененной Нестан-Дареджан. Но от того, что эта смысловая вершина помещена не в финале, а когда сюжет еще не исчерпан, сила ее воздействия увеличивается. Вызревавший долгое время в глубине идейный костяк с колоссальной энергией прорывается сквозь сюжетную канву и становится на уровень символа, выражающего общечеловеческое этическое и глубоко гуманистическое начало. Под знаком этого символа быстро и стремительно разворачивается действие в 3-м акте. Нарастанием торжества звучит в музыке столкновение витязей с каджами — торжества света над тьмой, добра над злом, справедливости над рабством и насилием.

**В жизни сладостной страданья позабудутся навек.
Не отведав горя, счастья не вкушает человек.**

¹ Характерно, что лирический, «любовный» тематизм, претерпев на протяжении двух актов весьма интенсивное развитие, — как интонационное, так и контрапунктическое, ритмическое, отчасти фактурное и гармоническое, — и найдя свое завершение в Квартете, в музыке балета больше почти не звучит. Его интонации, однако, легкоуловимы в сцене колдовства, но это лишь реминисценция.

И когда, наконец, разрушены злоеющие колдовские чары, возникает совершенно изумительная музыка Эпилога. Это гордый апофеоз братства и всепобеждающей любви, красоты и добра, это гимн Человеку — знаменосцу гуманизма, вдохновенному певцу благородных человеческих чувств.

Музыкальный спектакль слагается из нескольких компонентов, причем его общий образ воспринимается во взаимодействии всех выразительных средств, значение которых не всегда бывает равноценным. Поиск стилистического единства предполагает полное соответствие живописного, светового и хореографического принципов решения на основе музыкальной драматургии. Музыка, будучи все-таки менее конкретным искусством, чем танец, дает возможность отталкиваться от нее, диктовать не просто моменты пластической образности, нюансировки, но прежде всего общую стилистику хореографии. Как основное связующее звено всех компонентов спектакля, музыка «высвечивает» образ, требующий своего зрительного синонима. Ощутить этот образ воплощенным в конкретной чувственной и видимой форме по законам синтетичности музыкально-танцевально-театрального действия — и означает ощутить **общий образ** спектакля. Общий образ музыки «Витязя»-балета существует, существует активно, проникая в душу слушателя и воздействуя на нее.



ИСТОРИЯ Тифлисского русского театра — практически не изученная область взаимоотношений русского и грузинского народов. Исследователям известны лишь скудные сведения о создании этого театра. Особенно большой пробел составляет история постановок классики на его сцене.

В данной статье предпринята первая попытка исследования постановок пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» на сцене Тифлисского русского театра. Произведение русского драматурга, как и его жизнь, было теснейшим образом связано с Грузией и с историей возникновения и существования русского театра в Тифлисе. Поэтому мы сочли необходимым раскрыть и историю данного театра, основываясь на архивных источниках, прессе того времени и существующей по этому вопросу научной литературе.

Пьеса Грибоедова появилась в Грузии сначала на любительских домашних сценах. Как пишет И. К. Ениколопов, «официальный орган — «Акты Кавказской Археографической Комиссии» — упоминает о представлениях «Горе от ума» любителями у тестя Гри-

Анна ФАЛИЛЕЕВА

ЧАЦКИЙ В ТИФЛИСЕ

●

ИЗ ИСТОРИИ
ТИФЛИССКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА
XIX ВЕКА

боедова — князя Александра Чавчавадзе, в зале армянской духовной семинарии... и в доме Петра Багратиона»

В 1845 году по распоряжению М. С. Воронцова организация труппы в Тифлисе была поручена ставропольскому антрепренеру русской и украинской труппы Г. П. Яценко. Как утверждают некоторые ученые, он не сумел составить труппу, и за ее организацию взялся новый директор. Эта точка зрения опровергается исследованиями Г. Бухникашвили, В. Шадури и Н. Шалуташвили, которые доказали, что именно основная часть труппы Яценко составила ядро тифлисской русской труппы. На справедливость этой точки зрения указывают и архивные материалы².

С 20 сентября 1845 года к части труппы Яценко присоединяется небольшая группа бродячих актеров под руководством комика К. М. Зелинского, одного из лучших антрепренеров своего времени. Актеры давали «несложные водевили и комедии»³. Через год труппа уехала. Вслед за этим по рекомендации М. С. Щепкина была выписана труппа актеров из Таганрога, Екатеринодара, Харькова, Симферополя и Одессы. Режиссером был известный актер И. Х. Дрейсиг (1791—1888). Однако Воронцов считал нужным еще более усовершенствовать театральное дело и по рекомендации того же Щепкина выписал актеров Императорских театров.

Успеху театра, тогда еще мало игравшего классический репертуар, способствовала талантливая игра актеров и прежде всего супругов Маркс — Станислава Осиповича и Вассы Петровны. Работавшие в Тифлисском театре с первых дней его основания на протяжении всей жизни, они стали любимцами публики. Успешно работали в театре и три их дочери. Критик А. Баженов писал о старшей из сестер в журнале «Музыкальный и театральный вестник»: «В игре ее так много знания сцены и привычки к ней, взгляд ее на искусство так строг и верен, вкус так умно разборчив... Она.. заняла бы видное место на любой столичной сцене» (1860, № 32, с. 256).

Если в первой рецензии на игру ее отца в газете «Кавказ» писали: «Маркс имеет талант.. разнообразный, он иг-

¹ А. С. Грибоедов. Горе от ума. Вступление и статьи И. К. Ениколопова, Заря Востока, Тбилиси, 1946, с 166.

² ЦГИА ГССР, ф. 4, оп. 8, д. 113, л. 4.

³ Там же, л. 4 об.

рает все возможные роли, но зато некоторые из них «утруждает» (1846, № 2, с. 6), то через несколько лет можно было прочитать о нем такой отзыв: «В исполнении этого умного артиста не сказывались ни малейшее эффектичанье, фарсерство и ничего рутинного» («Музыкальный и театральный вестник», 1860, № 32, с. 255). Вершиной его творчества явилось исполнение роли гоголевского Чичикова.

Творчество Вассы Петровны Маркс было более ровным, во всяком случае, так оно отражено в газете «Кавказ», где печатались серьезные рецензии на спектакли Тифлисского театра. Первые строчки о ней: «Маркс.. очень хороша..» (1846, № 2, с. 6). Не успела она поработать и года, как ее уже ставят в пример молодым актрисам. Лучшими ролями Вассы Петровны были Устинья Наумовна («Свои люди — сочтемся») и Солоха («Вечера на хуторе близ Диканьки»).

Как мы отмечали, театр начал работу в 1845 году, но истинной датой его открытия можно считать 1846 год, когда 8 октября состоялся бенефис В. П. Маркс и была поставлена комедия Грибоедова «Горе от ума» — первое классическое произведение на сцене нового театра. К тому времени в Тифлис прибыли новые артисты из Петербурга и Москвы во главе с А. А. Яблочкиным. Все они незадолго до этого окончили Петербургскую театральную школу. Наиболее ярким дарованием среди них был Ф. А. Бурдин (1825 — 1887), друг А. Н. Островского. В 1851 году его пригласили в Александринский театр, где он прославился исполнением ролей купцов в пьесах своего друга. В числе прибывших в Тифлис актеров были Иванов, Мухин, Фомин, Медведева, Авенариус и Дмитриева.

Режиссером обновленной труппы стал истинный патриот Тифлисского театра А. А. Яблочкин. Даже будучи режиссером Александринского театра, он продолжал руководить нашим театром и пострадал из-за самовольной отлучки из Петербурга в Тифлис в разгар сезона — за это его с семьей уволили из театра. Его жена, старшая дочь (впоследствии народная артистка СССР) тоже много играли на сцене нашего театра. Именно Яблочкин впервые в 1846 году поставил на сцене Тифлисского театра комедию Грибоедова.

Но первая рецензия о режиссере и актере Яблочкине и его спектакле «Горе от ума» была малоутешительная: «...нет опытного режиссера... Занимающий эту должность г. Яблочкин слишком молод...» (1846, №14, с. 161 — здесь и далее в скобках приводятся год, номер и страница газеты «Кав-

каз». — А. Ф.). «Природный недостаток голоса и силы груди... мешали г. Яблочкину... не доставало благородной развязности, приличной молодому человеку, посещавшему высшее общество» — Яблочкин сам играл роль Чацкого. Но тут же рецензент признает: «Некоторые места последнего действия... были выполнены им недурно...» (1846, № 14, с. 162).

Остальные исполнители тоже не вызвали у рецензента особого восторга. Серьезным недостатком в этой постановке стало исполнение роли Скалозуба. «Почему режиссер... изменил Скалозуба (Маркс) на какого-то фертика, который смешит публику фарсами и смешными прыжками?» (1846, № 14, с. 162). В. П. Маркс в свой бенефис играла Лизу, за что «Кавказ» выразил ей благодарность. Вообще критика добрым словом упомянула только В. Маркс, Медведеву (Хлестова) и Мухина (Загорецкий). В спектакле участвовал также Смирнов, первоклассный комик, долгие годы украшавший сцену Тифлиского театра. Но на этот раз и его постигла неудача. Его Репетиллов, по выражению критика, слишком лихо сыгран. На исполнении спектакля сказались недоработанность, отсутствие ансамбля еще не привыкших друг к другу актеров — спектакль репетировали всего 10 дней.

Поэтому каждый играл что хотел: «Генделевич представил Фамусова... слишком нараспашку и так сказать разгульно, а ведь сам Фамусов говорил, что нельзя же в его лета пускаться впрысядку» (1846, № 42, с. 146). А. Бурдин «низвел Молчалина до манер буфетчика Петруши» (1846, № 14, с. 162). Весь спектакль получился жалкой копией со столичного варианта с провинциальной, неумелой утрировкой.

А теперь для сравнения остановимся на рецензии в другой газете — «Закавказский вестник». Здесь неизвестный рецензент довольно интересно пишет прежде всего о самой комедии. Для него Чацкий — сам Грибоедов. Но если это мнение спорно, то со следующими словами вряд ли можно не согласиться: «Если я еду в театр смотреть «Горе от ума», где б то ни было, в Тифлисе или Москве, я наперед должен быть уверен, что пьеса не будет вполне удачно разыграна... Для роли Фамусова во всей России создан один только гениальный Щепкин, для роли Чацкого — ни одного. Чего ж мы ожидали от... артистов молодых, по большей части едва только начинающих театральное поприще? — ...Я ожидал... хорошего чтения с приличными жестами — и не ошибся»

(1846, № 21, с. 194—195). С этой иной, чем в «Кавказе», более облегченной, нетребовательной позиции рецензент хвалит всех, кроме Бурдина и Маркса. Тут мнение «Закавказского вестника» совпало с отзывом «Кавказа»: «...вместо Молчалина вышел какой-то официант... Досадно, что с своим дарованием г-н Маркс типическое лицо так своевольно обратил в какое-то карикатурное исключение! — Из всех остальных лучше всех была г-жа Медведева в роли Хлестовой» (1846, № 21, с. 194—195).

Как видите, в целом отношение прессы к труппе довольно критическое. Действительно, «талантов, равных Шумскому, Шуберт... среди направленных в Тифлис не оказалось, в Тифлис не был приглашен на гастроли ни один из столичных корифеев. Не оказалось здесь и таких опытных руководителей, каких имел одесский театр»⁴. Но не слишком ли безнадёжную картину рисуют авторы «Истории русского драматического театра»? К сожалению, примерно в таком безрадостном тоне написаны все страницы «Истории», посвящённые Тифлисскому русскому театру. Думается, такая точка зрения на этот театр несправедлива. Мало того, что уже в октябре того же 1846 года дела театра пошли как нельзя лучше. Газеты называли период антрепренерства Яблочкина самым блистательным и обеспеченным периодом в истории развития Тифлисского театра. В ноябре 1852 года И. Ф. Золотарев писал Я. Полонскому: «Тифлис процветает, становится большим полуевропейским городом... Театр наш в полном блеске...»⁵. Само движение, развитие театра было намного сложнее и богаче, чем оно представлено на страницах «Истории». Следует также отметить, что в работе есть неточности (например, известная нам Васса Петровна Маркс именуется Вассой Борисовной и т. д.).

Через месяц после представления «Горя от ума» «Кавказ» сообщает, что «театр кишит многочисленным собранием публики...» (1846, № 46, с. 183). Постепенно здание манежа, в котором работал театр, становится тесным. И вот «28 октября заключен контракт на постройку каменного театра...» (1846, № 46, с. 182). Архивные материалы свидетельствуют, что Воронцов отдал для этой цели почетному

⁴ История русского драматического театра в 7-ми томах, т. 4. Искусство, 1979, с. 237.

⁵ И. Богомолов Я. П. Полонский в Грузии, Тбилиси, 1966, с. 81.

гражданину, богатому купцу Тамамшеву 855 кв. саженей городской земли на Эриванской площади, перерезанной в это время широким и грязным оврагом, чтобы на этом месте построить караван-сарай, внутри его устроить театр, а кругом лавки⁶. По контракту все лавки принадлежали Тамамшеву, а театр — городу Тифлису. Тамамшев обязан был содержать все здание в исправности, производить в нем капитальный ремонт. На внутреннюю отделку Воронцов выделил 255 000 рублей⁷. Оформлял театр известный русский художник Г. Г. Гагарин. Архитектором был утвержден Г. Скудиери. Открылся театр в 1851 году. К этому времени по инициативе Воронцова в Тифлисе была создана и грузинская труппа. Директором театра был назначен известный писатель В. А. Соллогуб. В одном здании расположились русская и грузинская труппы, итальянская опера и балет. «Между ними началась борьба за сборы... Сезон 1854/55 г. принес театру дефицит в 5 000 рублей. Смерть Николая I, ...смена наместника... привели к закрытию театра... русские спектакли давались осколками прежней труппы, возглавляемой актерами Мухиным, Марксом и Ивановым, а затем антрепренером Шадиновым»⁸. Новый наместник Н. Муравьев «...принимал в соображение, что в настоящую горестную эпоху, по кончине блаженной памяти государя императора, театральные представления не должны иметь места»⁹, и театр был закрыт... на девять лет.

Но вернемся в 1853 год. В это время в «Кавказе» печатались статьи под названием «Тифлисский театр в 1853-1854 гг. (письма странствующего театрала)». Вот какая в них нарисована картина: «...беспристрастие требует сознаться, что русская (как и грузинская) здешняя труппа не пользуется особенным сочувствием публики...» (1854, № 49, с. 189). Репертуар довольно беден — в основном водевили Кони, Соллогуба и других менее известных авторов. Актерам работать неинтересно. Недаром рецензент сетует на отсутствие прилежания у актеров: «В этом последнем отношении нельзя упрекнуть только гг. Маркса и Арнольда, г-жу Белоусову и г-жу Яблочкину». Однако: «Я видел многие, почти все про-

⁶ ЦГИА ГССР, ф. 416, оп. 3, д. 591, л. 1.

⁷ Там же, л. 2.

⁸ История русского драматического театра в 7-ми томах, т. 4, М., Искусство, 1979, с. 238.

⁹ ЦГИА ГССР, ф. 3, оп. 1, д. 402, л. 1.



винциальные русские труппы, и ни одной из них не отдам преимущества перед тифлисской». В чем же дело? «Сильных, ярких талантов здесь нет, но поражает ансамбль, ровность, равновеликость одаренных актеров». Это был хороший рабочий театр.

«Странствующий театрал», характеризуя игру актеров, дает оценку спектаклю «Горе от ума», осуществленному в 1853 году. Он считает, что Маркс — хороший актер, но «часто смущается, суетлив, даже в роли Фамусова. Г. Арнольд — прекрасный, образованный актер, но медленно совершенствуется. В Чацком игра его неровна, дикция... однообразна... Добросовестная, привлекательная г-жа Белоусова (Софья)... остается в ожидании лучших партнеров» (1854, № 49, с. 190).

Следующее упоминание о «Горе от ума» в Тифлисском театре встречается лишь в 1868 году, когда основу репертуара составили пьесы Островского. В 1866 году руководителем театра был назначен И. К. Немов, служивший до 1859 года в Малом театре. В 1868 году в Тифлис приехал Н. В. Орлов, личность которого до настоящего времени установить не удалось. Судя по циклу его статей в «Кавказе» под названием «Тифлисский театр, по первому впечатлению приезжего», он хорошо разбирался в вопросах театра и особенностях актерского искусства. Начинает он описание с чудесного здания театра: «Коридоры не широки, но устроены удобно. Зала с таким вкусом отделана, что воображение нового посетителя уносит его далеко в область сказочного мира. Все здесь поражает зрение... подобную театральную залу едва ли можно где увидеть в Европе. Оркестр составлен с полным знанием дела и дирижируется капельмейстером, как видно, недюжинным артистом...»

Затем взрыв автора приковывает сцена, на которой разворачивается действие комедии «Горё от ума». «Первая и вторая сцены шли как-то спешно: Чацкий, г. Аграмов... еще не войдя в роль, говорил с торопливостью... и заметно затруднялся, как нужно держать себя в объяснениях с Софьей (г-жа Снеткова), которая... от начала до конца держалась в какой-то драматической позе, несвойственной ее роли... В ее игре не видно было бездельницы — души и жизни. Зато Лиза была необыкновенно типична... но она слишком молода для смысленности Лизы, этого произведения Кузнецкого моста» (1868, № 3, с. 2).

А теперь сравним характеристики гостя с мнениями те-

атральных рецензентов «Кавказа»: «О г-не Аграмове, с успехом исполняющем на нашей сцене довольно важные роли, мы скажем, что он артист ловкий, умный и обладающий прекрасными средствами, но несколько угловатыми манерами. Своего мало, но зато все чужое передается им с некоторым искусством. Г-жа Снеткова — опытная актриса, но бесталанна» (1868, № 3, с. 1).

Отметим, что на этот же спектакль была написана отрицательная рецензия выдающимся грузинским публицистом и писателем Георгием Церетели в газете «Дрозба» (1868, № 1). Обратимся вновь к Орлову: «Фамусов (г. Яблочкин) мог бы играть эту роль и в столице. Правда, его скорая походка, быстрые движения не в характере Фамусова, но в местах патетических он выдержал роль как большой артист. С 3-го действия г. Аграмов, входя более и более в пассию, держался ровно и с достоинством, в последней сцене с Софьей... он был очень хорош. Здесь блеснул его талант искрой огня, который при его старании дает надежду, что в лице г. Аграмова со временем может выработаться настоящий Чацкий» (1868, № 3, с. 2). Рецензент не ошибся — Михаил Васильевич Аграмов стал интересным актером. Особенность его дарования заключалась в поразительной реалистичности игры, в том, что он умел в ролях трагического репертуара высветить близкое и понятное каждому зрителю. Лучшие свои роли — Гамлета, Арбенина и Франца Моора он играл «обыкновенными смертными...»¹⁰.

В рецензии Орлова даны сведения и о том, что в то время в нашем театре играл такой выдающийся русский актер, как Н. И. Музиль, один из ведущих актеров Малого театра. Критик отзывается о нем так: «Молчалин, г. Музиль, был довольно приличен в своей роли. Нам кажется, он был бы даже удовлетворительнее, если б был подвижнее в мимике... Скалозуб, г. Аркадьев, был бы хороший Скалозуб, если б дело не доходило до танцев. Здесь он без зазрения совести пустился в балаганные фарсы...» (1868, № 3, с. 2). Как видите, традиция первого исполнения оказалась живуча. В этих танцах и водевильной упрощенности образа нетрудно угадать будущего постановщика оперетт на сцене Александринского театра А. Яблочкина.

Н. В. Орлов кончает свою статью следующими словами:

¹⁰ История русского драматического театра, т. 4, М., Искусство, 1979, с. 239.

«..пьеса более или менее вся выдержана удовлетворительно и дает право новому в Тифлисе человеку думать, что труппа составлена удачно и управляется хорошим режиссером. Конечно, в губернских городах такого театра, как в Тифлисе, нет, кроме разве Саратовского, поражающего, впрочем, своей величиной и только» (1868, № 3, с. 2).

Орлов писал эти строки еще до 1877 года, в преддверии периода расцвета Тифлисского театра, когда в городе работала труппа С. А. Пальма, сына А. Пальма, бывшего петрашевца, известного писателя, чьи пьесы, поставленные в Тифлисском театре, пользовались неизменным успехом у публики и интеллигентных кругов столицы. А. Пальм участвовал в работе театра наравне с сыном-антрепренером, привлекая к театральной деятельности всю семью — жену, второго сына (выступал под фамилией Арбенин)¹¹. Антрепренерство С. А. Пальма можно считать счастливым временем: щедрый и бескорыстный человек, он не скупился на средства. В итоге чрезмерная доброта привела его чуть ли не в долговую яму и к краху театра, но он оставил о себе самую добрую память. Вот отзыв о его деятельности в «Кавказе»: «Он повел дело на широкую ногу, в первый же сезон составив прекрасную, большую и дорогую русскую драматическую труппу. На второй сезон.. доходы Пальма.. начали с каждою неделёю уменьшаться. Молодой антрепренер потерпел убытки, но не убоился таковых, а.. решился еще более расширить свое.. предприятие» (1882, № 219, с. 3). Однако, воспользовавшись его доверчивостью, все, начиная «с первого портного и кончая последним ламповщиком», стали обворовывать его. Таким образом вскоре театр прекратил свое существование.

В чем же было отличие постановки «Горя от ума» этой труппой? Как отмечает рецензент, исполнители «..почти управились и, во всяком случае, управятся. Г. Пальм будет Фамусовым, г. Шумилин будет Чацким, г-жа Погонина-Долинская уже Софья, г-жа Юшкова уже совсем Лиза, г. Соколов.. своими сценическими достоинствами.. затмевает главные личности..»

..роль Чацкого надо.. читать внятно.., а не так торопливо, как читал ее г. Шумилин (хотя в последнем монологе он был хорош). В роли Фамусова г. Пальм был слишком небарин.. ему не доставало.. ни голоса, ни фигуры. Как нежи-

¹¹ Сквозь столетия, сост. В. С. Шадури, Тбилиси, Мерани, 1983, с. 288.



данный сюрприз, предстала пред нами роль Молчалина в исполнении г. Леонова: все в ней было чистенько, гладенько, точно с иголочки, стишки были прочитаны внятно, с некоторым чувством и апломбом... Немножко побольше подобострастия перед Фамусовым, немножко побольше игривости с женщинами — и роль будет ничего себе» (1877, № 105, с. 3).

Конечно, как эта статья за подписью «Дилетант», так и сам спектакль стали предметом обсуждения общественности, зрителей. Многие остались недовольны и статьей, и игрой актеров. Но «Дилетант» не сдает своих позиций. Он открыто и последовательно отстаивает свои взгляды в обзорах «Кавказа» о театре.

1877 год — интересный период в развитии театра. Уже в 60-е годы в театрах провинции наметился кризис театра старого типа — антрепренерского. В Тифлисе в 1877 году русскую драматическую труппу составила группа молодых актеров, организовавшихся без всякого антрепренера, на основаниях свободного и равноправного товарищества. Во главе товарищества стоял тот же А. И. Пальм, создатель и вдохновитель этого начинания в Тифлисе. Г. М. Туманов вспоминал, что «товарищество имело головокружительный успех, и успех довольно продолжительный» («Голос минувшего», 1918, № 7, с. 7). Поддерживали начинание Пальма и передовые общественные деятели Грузии, в частности, Акакий Церетели. Но новый тип организации театров не нашел поддержки ни со стороны массового зрителя, от которого зависели сборы труппы, ни со стороны большинства актеров, опасавшихся остаться без средств к существованию. Начинание было разрушено изнутри.

Вполне обоснованные причины распада организации свободного товарищества даны в «Истории русского драматического театра»: во-первых, «в 60—70-е годы с новой силой сказались отсутствие органических корней провинциального театра в местном быту... которое актеры ощущали как основной источник противоречий театральной провинции»; причина вторая: «многие черты психологии провинциального зрителя 60—70-х годов... обуславливались его неподготовленностью... В театральных отчетах провинциальных газет нередко мелькает противопоставление неподготовленного большинства публики ее подготовленному меньшинству»¹².

¹² История русского драматического театра, т. 5, Искусство, М., 1980, с. 262.

В своих фельетонах талантливый критик под псевдонимом «Дилетант» отстаивает товарищество, пишет о значении театра в жизни города, о том, что в актерской среде часты разногласия и споры из-за неправильного руководства театральным делом, просит органы театрального управления поддерживать молодую труппу. Особенно волновал его вопрос о борьбе за сборы. Дело в том, что труппе русского театра приходилось играть только летом, в самое неблагоприятное для сборов время. А в остальные месяцы помещение было занято оперной труппой и захватившими все дело в свои руки итальянскими антрепренерами.

Вскоре на поддержку критику приходит известный нам комик Л. Соколов. В № 148 газеты «Тифлисский вестник» была напечатана статья под псевдонимом «Экс» о том, что актерское товарищество — это только красивые слова, прикрывающие махинации премьеров труппы, в частности, Соколова, требующего за свои выступления баснословные гонорары. К тому же тифлисская публика, продолжает «Экс», ходит в театр не ради избитых классических пьес, а с целью немного поразвлечься. Однако театр не удовлетворяет запросов публики.

Как нам удалось установить с помощью статьи «Кавказа» (1882, № 220, с. 2), сотрудником «Тифлисского вестника», писавшим под псевдонимом «Экс», был будущий антрепренер Тифлисского театра И. Е. Питоев, который сам в дальнейшем включал в репертуар своего театра в основном только классические пьесы.

Актер отвечает на выпад критика с тактом и достоинством несправедливо оскорбленного человека. Он пишет: «Как объяснить сборы, данные пьесами «Горе от ума» (654 р.), «Свадьба Кречинского» (437 р.), «Бедность не порок» (345 р.) и т. д.? Последняя из упомянутых пьес была поставлена 22 мая, следовательно, совпала с днем гулянья в пользу Красного Креста... Ведь если б публика не любила ничего серьезного, то не ходила бы на подобные пьесы...» (1877, № 139, с. 3).

В ответ «Экс» печатает статью уже в «Кавказе». Прежде всего он обвиняет своего оппонента в «ломании и фиглярстве» в ролях Репетилова и Расплюева. Затем пишет: «Горе от ума», «Бедность не порок», «Свадьба Кречинского», в особенности две первые, бесспорно, серьезные пьесы, но произведения эти настолько стары и избиты, что не могут представлять для современной публики никакого живого интереса, не могут за-

ставить ее зашевелить мозгами и задуматься над близкими для каждого вопросами жизни. Пожалуй, ради курьеза можно поставить на сцене и сделать сбор и Фон-Визинским «Недорослем» (позже именно Питоев первым на тифлисской сцене поставит эту пьесу. — А. Ф.), но это будет.. археологическая комиссия, монотонная и спокойная. В столицах, где публика живо и страстно относится к театру, подобные пьесы давно уже сошли с репертуара, и если ставятся, то не делают никакого сбора. Кому же охота, хотя бы и ради искусства, остаться с пустыми карманами?» (1877, № 143, с. 1).

Интересная деталь: «Экс» бранит Соколова за его манеру говорить монологи прямо в зал, за его стремление вовлечь зрителя в действие, значит, можно утверждать, что в Тифлисском театре в XIX веке актером театра были использованы и даже неоднократно элементы публицистического театра, получившие распространение лишь в следующем столетии.

Почему же так настоятельно необходимо было обращение театра к классике и к комедии Грибоедова в частности? Дело в бессмертии «Горя от ума» и других пьес классического репертуара. Грибоедов запечатлел неумиряющий конфликт — столкновение ума и посредственности, чувства и равнодушия, горения и мелочных интересов. Трагедия Чацкого далеко не только в любовном фиаско, а прежде всего в невозможности изменить мир, в котором господствуют мещанство и рутинная жизнь. Талантливый и умный человек, он потрясен своим бессилием доказать фамусовской Москве свою единственную правду.

Со временем конфликт, запечатленный в комедии великого поэта, становился все более актуальным для провинции, остающейся прибежищем рутины и застоя. Ни в коем случае не сравнивая Чацкого с Соколовым, а Питоева с Молчалиным или Фамусовым, нельзя не увидеть в споре «Экса» и актера то же столкновение. Представьте: полные сил и надежд актеры, окончившие Императорские театральные училища, видевшие в Москве и Петербурге лучшие образцы сценического искусства, приезжают в провинциальный город. И все их иллюзии рушатся — вместо ценителей «высокого искусства» они встречаются с невежественной в большей своей части публикой. Понимаешь, как трудно было этим людям, когда вчитываешься в прессу — единственное живое, горячее свидетельство, запечатлевшее их победы и промахи: в каждой рецензии — описание неприличного поведения зрителей, выкриков, эпатажа и других не очень красивых эпизодов.



Нужно было немалое мужество, чтобы в такой обстановке сохранить свое дарование, продолжать нести знамя высокого искусства. Каждый актер был в то время своеобразным Чацким — борьба одного со множеством, искусства с развлекательностью, актерской гордости с толпой, алчущей удовольствий.

Пусть эта картина не покажется слишком мрачной и безнадежной. К сожалению, исключения были очень редки, в то время у нас было еще мало ценителей театра, да и сам театральный организм оставлял желать лучшего. Это подтверждают следующие строки из «Истории русского драматического театра»: «Легкомысленное восприятие театра с особой победоносностью вспыхнуло в самом конце 70-х годов, сразу после жестокого кризиса, охватившего все без исключения театры провинции в период Забалканской войны. Особенно выразительны свидетельства, относящиеся к Тифлису этих лет, слышавшему «городом театральным», но «довольно неразборчивым»¹³.

Однако театральное искусство в Грузии продолжало свое развитие. В 80-х годах пришло время для появления комедии Грибоедова и на грузинской сцене. К тому периоду существовал перевод Григория Цинамдзгваришвили, высоко ценившего произведение русского драматурга¹⁴. Полагают, что перевод был сделан по заданию деятелей грузинского театра, возглавляемого известным комедиографом Георгием Давидовичем Эристави. «Еще в двадцатые годы... он... был представлен Грибоедову и получил благословение»¹⁵. Эристави и сам перевел I и II акты комедии. Впервые «...на сцене грузинского профессионального театра комедия... была поставлена в 1884 году в г. Кутаиси...»¹⁶.

На Тифлисской грузинской сцене премьеру «Горя от ума» играли в январе 1887 года. Газеты «Иверия» (№ 13) и «Кавказ» (№ 12) восторженно отзывались об этом спектакле. Чац-

¹³ История русского драматического театра, т. 5, М., Искусство, 1980, с. 262.

¹⁴ Летопись дружбы грузинского и русского народов с древних времен до наших дней, т. 1, изд. 2, сост. В. С. Шадури, Тбилиси, 1967, с. 195.

¹⁵ И. Меунаргия. Грузинские писатели, т. I, 1954, с. 244 (на груз. яз.).

¹⁶ Там, где вьется Алазань. Сост. В. С. Шадури, Тбилиси, 1977, с. 125.

кого превосходно сыграл К. Месхи. «Сафарова-Абашидзе в роли Лизы и Абашидзе в роли Фамусова, — по словам Каза», — вполне художественно воспроизвели изображаемые ими типы. Недурен был Скалозуб (Цагарели).. Алексеев-Месхиев в роли Молчалина был бесподобен...».

В феврале того же года постановка была повторена в бенефис талантливой артистки Вассы Абашидзе. Начиная с 1881 года «Горе от ума» ставилось в Тбилиси и на армянском языке (в переводе П. Тер-Аствацатуряна)¹⁷.

В 1885 году в постановке «Горя от ума» в Тифлисе на русской сцене появился, по признанию критики, «лучший Чацкий»: «Ленский-Петров (не следует путать его с А. П. Ленским. — А. Ф.) провел роль обдуманно, приложил много старания, читал прекрасно — с душой...» (1885, № 2, с. 3). Постановка этого года была особенно удачной. Все «провели роли с большим комизмом и удачно выдержали типы».

В тот же сезон прекрасно исполнил главную роль актер Николин, который в предыдущем спектакле играл Фамусова. Однако «в игре даровитого артиста более прекрасной читки и строгой обдуманности, чем неподдельного чувства» (1885, № 31, с. 3). В 1885 и 1889 годах А. П. Ленский, в очередной раз гастролируя в Тифлисе, тоже играет Чацкого. Критик «Нового обозрения», в целом недовольный постановкой, писал, что Ленский в главной роли «бесподобен» и «такого Чацкого, как г. Ленский, вряд ли кому случалось видеть» (17 июня 1889 г.).

В конце XIX века в Тифлисе произошло несчастье: 11 октября 1874 года театр сгорел со всеми помещениями при нем. Вскоре был объявлен конкурс на лучшее здание театра, победу одержал проект академика Шретера. Однако государственный совет сократил сумму расходов на театр, и строительство затянулось. В 1887 году, как свидетельствуют архивные материалы, П. И. Чайковский подал прошение о скорейшем открытии кредита на окончание постройки театрального здания в Тифлисе¹⁸. Тем не менее строительство не сошло с мертвой точки.

В это время дочерью Станислава Осиповича и Вассы Петровны Маркс и ее мужем Питоевым был создан любительский театр. Обратимся к воспоминаниям Питоевой: «В

¹⁷ Там, где вьется Алазань. Сост. В. С. Шадури, Тбилиси, 1977, с. 129.

¹⁸ ЦГИА ГССР, ф. 5, оп. 8, д. 326.



этом театре, вмещающем 300 человек, мы возобновили «Горе от ума». Понемножку наш кружок... превратился в Тифлисское артистическое общество.

Решили выстроить большое здание; руководство по постройке нового театра, ныне имени Шота Руставели, взял на себя мой муж. При открытии этого театра в феврале 1901 года было поставлено «Горе от ума». В этом спектакле я последний раз выступила в этой комедии, после чего совсем сошла со сцены»¹⁹.

Так именем Маркс, связанным с первой и последней постановкой грибоедовской комедии в Тифлисе, заканчивается история постановок «Горя от ума» в прошлом веке. Заканчивается, чтобы открыть новые страницы, вписанные XX веком, когда на сцене Тифлисского русского театра, того же Артистического общества расцветал и обретал силу одухотворенный талант В. Ф. Комиссаржевской, осуществлял свои смелые фантазии В. Э. Мейерхольд. Искусство XX века одабрило нас новыми прочтениями грибоедовской комедии—от блестящего спектакля Г. Товстоногова до Чацкого—В. Соломина в Малом театре. Но это уже другая история.

¹⁹ Грибоедов. Горе от ума. Вступление и статьи И. К. Ениколопова. Тбилиси, 1946, с. 187.



НА РОДИНЕ ПОЭТА

В СЕЛЕ Карданахи Грузинской ССР открылся Дом-музей известного грузинского поэта Иосифа Нонешвили.

В день открытия музея на родину поэта приехали многочисленные гости из близлежащих районов, из Тбилиси — участники X съезда писателей Грузии, ценители и почитатели таланта И. Нонешвили.

В торжествах, посвященных открытию Дома-музея поэта, приняли участие товарищи Д. Патиашвили, Г. Андроникашвили, П. Гиладшвили, Г. Енукидзе, Б. Никольский, В. Алавидзе, ответственные работники ЦК КПСС Б. Мальков, С. Потемкин.

Герой Социалистического Труда поэт-академик И. Абашидзе перерезал ленту и пригласил прибывших в залы Дома-музея.

На торжественном митинге, посвященном этому событию, выступили первый секретарь Гурджаанского райкома партии Д. Саришвили, председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили, секретарь правления Союза писателей СССР Ю. Суровцев, писатель С. Чилая, председатель совета по грузинской литературе Союза писателей СССР Е. Евтушенко, секретарь правления Союза писателей Грузии Х. Берилава.

На первом этаже Дома-музея И. Нонешвили расположена библиотека, в которой собраны книги писателя, издан-

ные на разных языках, его личная книжная коллекция.

В Доме-музее также экспонированы личные вещи поэта, рукописи, его переписка с русскими и другими советскими писателями.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АШУГА

ЕЖЕГОДНО в последнее воскресенье мая в Тбилиси собираются представители общности Грузии, Армении и Азербайджана, чтобы выразить всенародную любовь великому ашугу Саят-Нова, воспевшему добро, братство, любовь.

Тысячи людей собрались в старинном уголке многонационального Тбилиси — в Ортачала, у могилы поэта и гражданина, создававшего свои произведения на армянском, грузинском, азербайджанском языках.

На празднике Саят-Нова присутствовали товарищи Д. И. Патиашвили, Г. Д. Габуня, Г. Н. Енукидзе, В. Г. Лордкипанидзе.

Митинг открыл председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили. Он рассказал о Саян-Нова — самобытном поэте, который служил народу своим высоким искусством, одним из первых воспел дружбу народов Закавказья.

На митинге также выступили секретари правления Союза писателей Грузии Р. Амашукели и Р. Инанишвили, секретарь правления Союза пи-

сателей Армении В. Григорян, поэты-переводчики из Азербайджана и Армении В. Гаджиев и А. Овнатан, литературовед, профессор Б. Арвеладзе, писатели Б. Сейранян и С. Симаворян.

А затем зазвучали песни, стихи ашуга на языках народов Закавказья, исполнялись грузинские, армянские и азербайджанские танцы.

В подлинный праздник дружбы и братства народов Закавказья вылился традиционный праздник поэзии Саят-Нова.

К. СИМОНОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ДОМЕ работников искусств Грузии состоялся вечер, посвященный памяти Константина Симонова.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии, директор Института грузинской литературы имени Ш. Руставели Академии наук Грузинской ССР Георгий Цицишвили.

С докладом о творчестве К. Симонова выступил доктор филологических наук, профессор Т. Буачидзе. На вечере присутствовали известные грузинские писатели Ираклий Абашидзе, Григол Абашидзе, Джансуг Чарквиани, Михаил Квливидзе, а также гости из Москвы — генерал-майор, в отставке главный редактор газеты «Красная звезда» в годы войны Давид Ортенберг, писатель Лазарь Лазарев и сын К. М. Симонова.

Во всех выступлениях говорилось об огромном вкладе К. Симонова в литературу, о его произведениях, ставших любимыми для многих читателей, о его тесных творческих и дружеских связях с Грузией и грузинскими соотечественниками по перу.

На вечере шла речь о создании книги воспоминаний о писателе, которую следует издать в Грузии. И это не случайно, потому что на грузинской земле он оставил часть своей души и многочисленных друзей.

ДЕКАДА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КНИГИ

В ТБИЛИССКОМ книжном магазине «Дружба» прошла декада чехословацкой книги, приуроченная ко Дню освобождения Чехословакии от фашизма.

Известные издательства братской страны — «Катран», «Панорама», «Артия», «Олимпия», «Альбатрос» и другие представили свои новые работы на суд советских читателей.

Декаду открыл заместитель председателя Госкомиздата Грузинской ССР Э. Сихарулидзе. Он говорил об активных творческих связях между нашими странами, особо отметив, что в последнее время все больше произведений грузинских писателей переводится на чешский и словацкие языки.

На открытии книжной декады также выступили секретарь правления Союза писателей Грузии Дж. Чарквиани, главный и научный редакторы Главной редакционной колле-

гии по художественному переводу и литературным связям Союза писателей Грузии О. Нодия и М. Эргемлидзе и другие.



**КОНТРОЛЬНЫЕ
ЭКЗЕМПЛЯРЫ**

Сдано в набор 12.V.86 г. Подписано к печати 9.VI.86 г. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0 УЭ 06791. Тираж 6 000 экз. Заказ 1167. Адрес редакции 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), М. Ю. ЛОХВИЦКИЙ, Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, Л. Ш. СТУРАУ, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

ИНДЕКС 78117

ՀԱՅԿԵՍՏԱՆԻ
ՏՈՒՆԵՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

86-989

26.86

